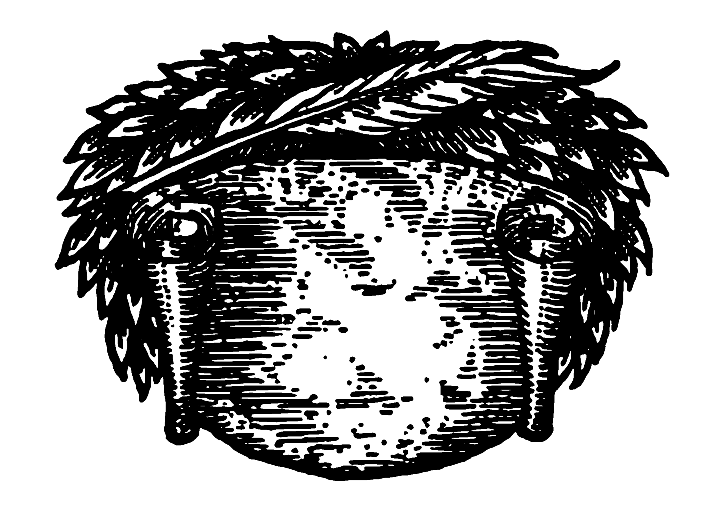


Л. ЛЬВОВ. (Л. М. КЛЯЧКО)

ЗА КУЛИСАМИ СТАРОГО РЕЖИМА

ВОСПОМИНАНИЯ ЖУРНАЛИСТА



ЛЕНИНГРАД
1926

Л. ЛЬВОВ

ЗА КУЛИСАМИ СТАРОГО РЕЖИМА

(ВОСПОМИНАНИЯ ЖУРНАЛИСТА)

ТОМ I

ИЗДАНИЕ АВТОРА
ЛЕНИНГРАД
1926



Ленинградский Гублит № 5601. Тираж 10000

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Судьба играет человеком. В этой игре на мою долю выпала своеобразная роль. Если сопоставить отдельные моменты, то получатся контрасты, характеризующие старый режим, властный и бессильный, чванный и ничтожный, режим, скрывавший за мишурной блестящей внешностью убожество и разложение, неминуемо ведшие к краху.

16-ти лет от роду я очутился в Москве без права жительства. При старом режиме евреи занимали особое положение; в то время, когда каждое живое существо приобретало право на жизнь самым фактом своего рождения, еврей терял это право именно в момент рождения.

Правая рука царского дяди Сергея Александровича — полковник Власовский, впоследствии устроитель Ходынки, занимался тогда чисткой Москвы... от евреев.

Мне пришлось перейти на нелегальное положение и ночевать на Тверском бульваре вместе со многими единоверцами. Вскоре полиция обнаружила эту «хитрость», при помощи которой евреи обходили закон, и стала практиковать облавы на бульварах. Пришлось прибегнуть к пешему ночному хождению по глухим переулкам подальше от взоров полиции: за каждого «пойманного» еврея полагалось 3 руб. награды.

А с 1905—6 г. я, все еще не обладая бесспорным правом жительства, занял своеобразное положение: неоднократно подымался вопрос о моем выселении, не раз я получал повестки о «выезде в 3-дневный срок», — и не только ни разу не уехал, но в то же градоначальство, от коего я получал предписание выехать, и в тот же департамент общих дел министерства вн. дел, откуда распоряжение исходило, я являлся ежедневно с ходатайствами о выселяемых единоверцах. И ходатайства эти удовлетворялись. А когда вновь назначенный директор д-та общих дел Шадурский не захотел удовлетворить мои просьбы, он получил выговор от министра вн. дел А. Н. Хвостова.

Не мало хлопот причинил я старому режиму. В течение многих лет происходила борьба. Власти все время пытались узнать, откуда я добывал информацию, вызывавшую недовольство того или другого бюрократа. Для достижения этого прибегали к всевозможным приемам. При систематических обысках неизменно искали записей адресов, телефонов, переписки. Но у меня никогда не было записной книжки. Это всегда вызывало раздражение моих незванных гостей.

Вместе с этим за мной было установлено наблюдение. Еще в 1905 г. ко мне была приставлена охрана. Я жил тогда на Английском проспекте. Ход в мою квартиру был со двора. У ворот дома в один прекрасный день появился здоровенный дядя. Упитанный, краснощекий, он, не взирая на жаркое лето, щеголял в блестящих новеньких калошах на сапогах бутылками. Утром он неизменно появлялся у ворот, где и проводил весь день. Большую часть времени он играл с дворниками в шашки, тут же у ворот. Его миссия не

была тайной. По крайней мере, малолетний сын дворника так и величал его: дяденька-сыщик.

Он до того освоился со своей «службой при мне», что когда я выходил из дома, он галантно снимал шапку и шумно по-солдатски здоровался.

А затем за мной была установдена беспрерывная слежка. После переворота мне пришлось ознакомиться с двумя толстыми «делами» департамента полиции о наблюдении за мной. Часть сведений, почерпнутых из этих документов, была напечатана в изданиях «Былого». Подробности о наблюдении за мной и попытках выслать — займут особое место во 2-ом томе моих воспоминаний, так как они относятся к позднейшему времени, а настоящий том обнимает преимущественно период до открытия законодательных палат.

Здесь я приведу несколько характерных моментов.

В 1908 г. имела место попытка установления за мной «внутреннего наблюдения».

После смерти моего первого ребенка жена моя решила сдать комнату. Утром у парадной был вывешен билетик. Приезжаю к обеду и узнаю, что не успели наклеить билетик, как появился какой-то мужчина, немедленно снявший комнату и уплативший вперед за месяц 25 руб. Меня это несколько удивило. Жил я на Невском, почти у Лавры. В этом районе селились в комнатах преимущественно учащиеся психоневрологического института, расположенного за Лаврой. Но учащийся не может платить 25 рублей. Для деловых же людей район неподходящий. Тогда трамвая здесь еще не было; сообщение с городом неудобное: паровиком — до вокзала. Мне это показалось подозрительным, и я решил проследить за моим жильцом.

Вечером он заявился ко мне: благообразный, очень живой старик с белой большой бородой и моложавым румяным лицом. Вид сияющий.

Утром я вышел в кабинет рядом с комнатой жильца. Поговорив по телефону, я обошел кругом по коридору и заглянул осторожно в его комнату. Он сидел у двери, смежной с кабинетом, держал в руке блокнот и карандаш. Я тихонько вернулся в кабинет и прибег к симуляции телефонного разговора. Я брал трубку, но вилку прижимал. Соединения со станцией не было. Говорил якобы с министрами и наиболее правыми, причем все касался царя в самом фривольном тоне. Мой сыщик повидимому все записывал и докладывал. С неделю я так изводил его. С каждым днем его жизнерадостность исчезала. А через неделю я предложил ему оставить комнату. Тогда он сознался, что у него нет средств на переезд. Очевидно его сочли сумасшедшим и уволили. Я вернул ему его же 25 рублей и посоветовал ему заняться более подходящим делом.

После этого наблюдение было организовано по всем правилам.

На углу Невского и Консисторской, против моего подъезда, с утра дежурил лихач. При попытках нанять его, он неизменно отвечал «занят». Как только я выходил из подъезда и садился на извозчика, на лихача усаживались двое мужчин. Лихач следовал за мной

Уже в первый день мой извозчик обратил мое внимание: в этой местности лихачу делать нечего, да еще с утра. Я убедился, что это относится ко мне.

Пришлось прибегнуть к следующему приему: когда я ездил к правым, я делал это открыто. А когда я хотел укрыться от моих наблюдателей, я

заезжал в министерство торговли на Дворцовой площади. Сыщики оставались ждать у подъезда. В деле о моем наблюдении значится почти ежедневно: «заезжал в министерство торговли, где пробыл 1 час, $1^1/_2$»... иногда и более. По коридору я проходил через министерство финансов на Мойку, а оттуда на Конюшенную, где брал таксомотор и, проделав необходимые визиты, тем же путем возвращался. Я ждал, чтоб мои наблюдатели проникли в здание. Я заранее решил, что если кто-нибудь из них пройдет внутрь здания, я затею с ним скандал, заявлю, что он преследует меня с целью грабежа — тогда грабежи были в моде — и он должен будет сознаться, что наблюдает по поручению департамента полиции. Тогда я подыму шум в печати и в Гос. Думе. Я дождался. Однажды один из моих соглядатаев проник за мной в подъезд, с целью проследить, что я делаю в министерстве. Когда он дошел за мной до второй площадки, я неожиданно обернулся к нему и в упор поднес к самому его носу кукиш. Он растерялся, но на скандал не пошел, а моментально повернул обратно и выбежал на улицу. Невольному свидетелю этой сцены, секретарю министра торговли К. С. Стракачу, проходившему в этот момент, мне пришлось разъяснить, в чем дело. Министр торговли В. И. Тимирязев рассказал об этом в Совете Министров, и по распоряжению Столыпина это наблюдение было снято. Через несколько дней после «кукиша» лихач исчез.

Уже после переворота я узнал из дела о наблюдении за мной, что кучер мой получал 15 р. в месяц, а швейцар дома, где я жил, — 3 рубля. Расходы эти были вполне непроизводительны: ни кучера, ни швейцара я в свои дела не посвящал. Да и при-

том, как видно из записей, кучер, получая деньги, нарочито путал охранников, рассказывая небылицы...

В том или ином виде наблюдение за мной продолжалось вплоть до переворота. Приходилось быть постоянно на-чеку, тем более, что мои заметки все чаще вызывали недовольство бюрократов. Дошло даже до того, что морской министр принес на меня жалобу самому Николаю II.

Мне удалось добыть секретный доклад государственного контролера П. А. Харитонова, в котором приводились гомерические хищения при оборудовании кораблей. Совет министров предложил морскому министру дать объяснения. Последние не удовлетворили Гос. контролера. Когда я описал все это, морской министр пожаловался царю.

6 февраля 1912 года царь, принимая Коковцова, высказал свое неудовольствие по поводу того, что Львов в «Речи» сообщает о секретной переписке морского министра, и приказал произвести расследование.

Немедленно вызван был редактор. Началось дело, которое однако было замято в самом начале во избежание скандала: у меня на руках был печатный экземпляр доклада Харитонова. Власть ограничилась тем, что предписала больше не касаться в печати этого вопроса.

Самый доклад я передал социал-демократической фракции Гос. Думы, которая собиралась внести по этому поводу запрос. Запрос не состоялся. Почему — не помню.

Сложная работа, требовавшая большого напряжения и постоянных изощрений, не давала возможности вести систематически дневник. Свои воспоминания пишу по некоторым уцелевшим до-

кументам, а больше по памяти. Возможны поэтому некоторые неточности, в особенности в датах. Но они настолько незначительны, что не изменяют сути и в общем дадут верную картину тех сторон старого режима, которые затронуты в моих воспоминаниях.

Л. Львов.

СТАРАЯ ЦАРИЦА.

Отношения между Александром III и Марией Федоровной испортились еще задолго до смерти Александра III.

Едва ли не главной причиной разлада был неудачливый наследник Николай, которого Александр III не взлюбил.

Александр очень кичился тем, что все Романовы стройного сложения и высокого роста. Он считал это признаком высшей породы. Невзрачный, невысокого роста и хилый Николай вызывал в нем органическое и, пожалуй, «принципиальное» отвращение.

Со свойственной Александру непосредственностью, он неизменно упрекал Марию Федоровну в том, что она «испортила породу», высказывая этот упрек при посторонних.

Покинутая мужем в разгаре бальзаковского возраста, Мария Федоровна усердно занялась флиртом. Она непрестанно меняла кавалеров и продолжала этим заниматься до последних дней. Судя по проникающим из-за границы известиям, она недавно официально вышла замуж за своего старого поклонника кн. Шервашидзе.

До него, еще при жизни Александра III, при ней состоял князь В. Барятинский, отец литератора-драматурга В. В. Барятинского, мужа артистки

Яворской. Благодаря фавору отца, В. В. Барятинский с малых лет имел доступ во дворец и, будучи сверстником Николая, участвовал в его детских забавах. Впоследствии он сделался литератором, основал левую газету «Северный Курьер», которая была скоро закрыта. Сам Барятинский, в виду его бывшей близости к Николаю, избег наказания за «крамольность».

Фаворитами старой царицы, помимо двух указанных, состояли: бывший министр путей сообщения кн. Хилков, Петербургский градоначальник, а впоследствии Киевский генерал-губернатор ген. Клейгельс и красавец—предмет вожделений придворных дам — ген. Мартынов.

Эти пятеро были общеизвестными фаворитами.

* * *

По примеру хозяйки, двор, со своей стороны увлекался флиртом. Вольность нравов при дворе установилась необычайная. «Почти как при Екатерине II», — как выражались царедворцы.

Пикантные истории, происходившие при дворе, десятками передавались в бюрократических кругах. Легкость нравов сохранилась и при Николае. Карьеры часто делались и закреплялись такими похождениями.

Когда же впоследствии настало некоторое подобие свободы печати, то дабы похождения, принявшие скандальный характер, не проникали в прессу, главному управлению по делам печати предписывалось принять соответствующие меры. И печать неоднократно получала предложение: не писать ничего о том-то.

И тогда журналисты узнавали то, что доселе было неизвестно.

Так, напр., при м-ре вн. д. Маклакове однажды последовало от гл. упр. по делам печати воспрещение печатать о бракосочетании фрейлины Бюцовой.

О ней журналисты ничего не слыхали. Журналисты заинтересовались. Управлявший в то время главным управлением по д. печ. Катенин — тоже не был в курсе дела и спрашивал журналистов, в чем суть. Очень скоро журналисты узнали, что Маклаков, очевидно, в целях закрепления позиции, согрешил с Бюцовой. Ведь он для карьеры ничем не брезговал и часто развлекал двор тем, что, завернувшись в шкуру, изображал пантеру.

С Бюцовой вышло осложнение, и надо было принять меры к покрытию греха. Удалось уговорить рядового чиновника департамента полиции жениться. Брак был скандальный. Все же как-никак фрейлина — и какой-то чинуша. И приказали печати молчать.

* * *

Александр знал о том, что происходит при дворе, и не мешал.

Но зато и не стеснялся в эпитетах по адресу придворных дам, часто при всех именуя их довольно недвусмысленными прозвищами.

Вообще Александр III любил «выражаться», не стесняясь присутствием придворных и приглашенных гостей.

И в этом отношении отличался виртуозностью. Среди матросов, плававших с ним во время его частых прогулок по шхерам, — одно время была мода «обкладывать по александровски».

Особенно разворачивался он, когда был не в духе. Тогда он сыпал истинно-русскими выраже-

ниями, обнаруживая большую в этом деле изобретательность, а социальное положение придворных дам определял термином, начинающимся со второй буквы русского алфавита.

К этому привыкли.

Никого это не смущало.

— · ·· ·· ——

ФАВОРИТЫ СТАРОЙ ЦАРИЦЫ.

Кн. Шервашидзе — кавказец — человек мало заметный. Он, а равно и ген. Мартынов, в придворных интригах мало участвовали и вовсе не вмешивались в политику, которой они не интересовались, довольствуясь положением фаворитов царицы.

Фавор кн. Хилкова имел под собою «либеральную» подкладку. Хилков изучал железнодорожное дело в Америке, где, как уверяли, прошел все стадии железнодорожной службы, начиная от кочегара. Затем он в Болгарии занимал видный пост и играл там роль в общественной жизни. Приехал он в Россию с готовой маркой либерала. А старая царица слыла либералкой и благоволила ко всем опальным и левым бюрократам. Так, она, например, очень благоволила к профессору, впоследствии члену гос. совета Таганцеву, считавшемуся красным, так как он участвовал в процессе 193, где в числе обвиняемых был ставший потом профессором Кадьян, которого он и защищал.

Она же всячески поддерживала в свое время Коковцова, который считался левым министром.

Хилков довольно бесцветно, но честно вел свое министерство. Сам не крал и не брал. Он не продавал, подобно одному из своих предшественни-

ков—Кривошеину, своему же министерству шпал собственной заготовки, за что тот и был с позором изгнан.

Он не участвовал в махинациях с выдачами железнодорожных концессий, подобно одному из своих преемников—Шауфусу, за что этот, однако, изгнан не был.

«Скромный» министерский оклад он увеличивал только, так сказать, легальным путем — получением прогонов.

Закон о прогонах был весьма любопытной достопримечательностью старого режима. Менялись цари, менялись законы, менялись направления, менялся режим... Неизменным и незыблемым оставался закон о прогонах.

Он был издан чуть не при Петре. По этому закону всем чиновникам при служебных поездках полагались, кроме «кормовых», прогоны в размере 5 к. с версты за каждую лошадь. Чем выше был сановник — тем больше полагалось ему лошадей. Министру полагалось 12 лошадей: иначе говоря, 60 к. за версту.

Прошли годы. Построили железные дороги. Сановники стали ездить в салон-вагонах и, конечно, бесплатно. Но после каждой поездки неизменно представлялся счет на прогоны за сделанное количество верст. И им выдавались деньги за «утомительное» путешествие на перекладных. Во время русско-японской войны Хилков бывал постоянно в разъездах, тем более, что в Сибири строились пути, укладывались рельсы по льду на Байкале. Путешествовал он в собственном поезде, а прогоны получал, как будто ездил на лошадях, за десятки тысяч верст. В общем он «наездил» свыше 40 тыс. руб. за год.

Рекорд в деле прогонных, впрочем, побил главный интендант Московского округа — ген. Ростковский.

Этот генерал приобрел репутацию деятельного и энергичного администратора, благодаря тому, что он непрерывно ревизовал интендантские склады подведомственного ему округа.

Оказалось, что дело тут не в энергии, а в прогонах. Причем хитроумный генерал изобрел гениальный метод. По линии железной дороги, на протяжении более тысячи верст, расположено много интендантских складов с различными товарами. Ростковский едет в первый склад. Ревизует и едет обратно. Сейчас же едет во второй склад. Обратно. Таким образом тысячу верст он вгонял в 6 — 7 тысяч.

Такие ревизии он делал часто. Жил он широко. Кутежи его гремели на всю Москву. Иногда после длительного кутежа он для поправления финансов выезжал внезапно на ревизию прямо из ресторана.

В конце концов, это заметил гос. контролер. Ростковскому было поставлено на вид «неудобство» подобного способа, и он волей-неволей вынужден был на ревизии ездить «нормально», но за лошадей получал.

Много раз подымался вопрос о ликвидации этого курьезного закона. Ничего нельзя было поделать. Не могла сделать ничего и Дума... или не хотела.

* *
*

Ярче других фаворитов царицы был, несомненно, ген. Клейгельс. Он был известен тем, что успокоительно действовал на Марию Федоровну. Как только у нее расходились нервы — немедленно

вызывали Клейгельса. Нередко ночью. В самом градоначальстве по этому поводу острили: «Клейгельс повез валериановые капли».

Свое положение он использовал на все 100 процентов. Сознавая свою неуязвимость, он не останавливался ни перед чем.

Ему, действительно, все сходило с рук: он был довольно недвусмысленно замешан в скандальном процессе с завещанием князя Огинского, подделанным Вонлярлярским. Благодаря своему положению, он остался в этом деле в скромной и едва ли соответствовавшей действительности роли свидетеля. Причем, используя свое положение, он заставил суд для допроса его приехать к нему на дом в полном составе.

Ген. Клейгельс, между прочим, очень благоволил к Ольге Штейн, и при нем деятельность этой дамы пышно расцвела.

Злые языки острили по поводу этой «соперницы» Марии Федоровны, не без ехидства подчеркивая своеобразный контраст: бесправная еврейка и царица с неограниченными правами.

По части изобретательности в области взяток Клейгельс был исключительно талантлив.

В один прекрасный день в Петербурге был издан ген. Клейгельсом приказ, по которому все рестораны, пивные и пр. заведения обязаны были закрываться в 11 часов.

Для больших ресторанов, вроде Кюба, Донона, Палкина, Фелисьена — это был зарез. Главная торговля начиналась после закрытия театров. Всполошились рестораторы. Ходатайствовали. Не помогает. Клейгельс строг: решил сократить пьянство. От царя за ревность благодарность получил.

Через некоторое время по ресторанам стал шататься какой-то субъект, намекавший, что можно добиться сепаратного открытия ресторана. Для этого надо купить у Клейгельса оказавшуюся лишней лошадь. Покупателя приводили на двор градоначальства, выводили одра, уже отслужившего пожарную службу и годного лишь для Мосягина (известный — в свое время в столице татарин, поставлявший в татарские столовые конину).

Цена в зависимости от ресторана доходила до 5 и более тыс. р. Кроме того, уплачивалась комиссия субъекту, чтобы избавиться от необходимости взять лошадь.

На этой почве получился курьез. Владелец татарского ресторана (если не ошибаюсь, Карамышев), уплатив за лошадь, хотел взять ее «на котлеты», так как у него были клиенты татары. А между тем еще не все рестораторы «купили» лошадь. Она была еще нужна. С трудом удалось отговорить расчетливого татарина.

Этот одер постепенно продавался всем и в течение нескольких недель все рестораны были вновь открыты до поздней ночи, вернее до утра.

При Клейгельсе произошла загадочная история: пропал новенький пароход речной полиции. Так-таки исчез бесследно. Клейгельс ретиво занялся розыском его и в конце концов положил дело под сукно.

О пароходе забыли.

Пароход вскоре нашелся случайно.

Через несколько лет после пропажи была назначена сенаторская ревизия в Киевской губернии по поводу беспорядков в учебном мире. Ревизором был назначен член Гос. Сов. Турау. Так как в то время должности Киевского генерал-губернатора и командующего войсками округа были объеди-

нены в одном лице, и начальник края жил во дворце командующего войсками, то генерал-губернаторский дворец пустовал. Здесь поселился на время ревизии Турау со своим штатом.

Дворец оказался буквально опустошенным: все серебро, все дворцовое белье исчезло; роскошные оранжереи с редкими растениями оказались пустыми.

Незадолго до этого Клейгельс покинул пост киевского генерал-губернатора.

Турау не поленился послать чиновников в имение Клейгельса. Там оказалось и серебро, и белье, и оранжерейные растения, вывезенные из Киева целыми поездами.

Там же, в имении Клейгельса, оказался и пропавший пароход речной полиции.

Выяснилась попутно одна характерная деталь, свидетельствующая о дальновидности Клейгельса. В бытность его генерал-губернатором, было по его ходатайству отпущено 60 тыс. руб. на изготовление нового белья—столового и прочего, для генерал-губернаторского дворца. По распоряжению Клейгельса, вместо обычной метки К. Г. Г. (Киевск. ген. губ.) быда сделана метка Н. К. (Начальник Края). В своем распоряжении о новой метке Клейгельс указывал на то, что идет разговор о переименовании Киевского генерал-губернаторства и потому он предпочитает метку, которая может пригодиться на случай переименования, чтобы потом ее не переделывать. Переделывать, действительно, не пришлось. Когда Клейгельс оставил свой пост, он захватил белье с собой, благо метка Н. К. соответствовала его инициалам — Николай Клейгельс.

На белье, между прочим, было израсходовано только около 30 тыс. руб. Остальные 30 тыс. р.

ушли, как объяснил Клейгельс ревизорам, «на нужды, известные государю».

Турау обо всем доложил царю.

Клейгельс после этого никаких назначений не получал и до конца оставался в опале. Но украденного обратно не отдал.

НИКОЛАЙ — НАСЛЕДНИК.

Мизерный вид Николая II был больным местом Александра III. Отец избегал показываться вместе с сыном. Рядом с могучим по виду отцом Николай, действительно, имел жалкий вид. Придворные, следуя отцу, относились к наследнику недружелюбно.

Да его серьезно никто и не считал будущим царем. Никто не думал о том, что хилый первенец переживет богатыря-отца.

И Николай рос как-то обособленно, без надлежащего надзора; он рано начал увлекаться спиртными напитками. Ему еще не было 16 лет, когда он прославился попойками. Часто он со своими сверстниками допивался до того, что устраивал игру в зверей: — все бегали по парку одного из гатчинских дворцов на четвереньках, иногда нагишом. Тогда ворота парка наглухо запирались, дабы посторонние не проникли в тайну забав наследника престола.

Одним из наиболее деятельных участников этих попоек был Сипягин. За это, а также за умелое приготовление какого-то особенного соуса с устрицами, Николай II, когда стал царем, назначил Сипягина управляющим «собственной его величества канцелярией», а затем и министром.

Раннее употребление в изобилии спиртных напитков отразилось на умственных способностях

Николая. Удар по черепу, полученный им в Японии, довершил дело. Николай окончательно был предоставлен самому себе.

О нем настолько не думали, что он вырос недостаточно грамотным. В 1905 г. мне лично пришлось видеть у госуд. секретаря барона Икскуля бумагу, в которой испрашивалась кому то аудиенция. На ней была пометка Николая: «в срѣду» — при чем среда была выписана через букву ять.

Никто его не считал будущим царем, благо отец пышет здоровьем.

Но вот врачи определили у царя серьезную болезнь печени.

Вопрос о наследнике стал на очередь.

Что делать? Ведь Николай слаб, чтобы вести курс твердой власти. И решили женить Николая на женщине властной, которая смогла бы крепко держать его в руках.

И тогда была выдвинута Алиса Гессенская. По соображениям дипломатическим русский двор всегда стремился породниться с этим домом. Поэтому-то дядя Николая — Сергей Александрович — московский генерал-губернатор, убитый Каляевым, женился на сестре Александры Федоровны — Елизавете. Действительно, с точки зрения дипломатической этот дом подходил со всех сторон. С одной стороны, эта связь способствовала поддержанию добрососедских отношений с Германией. В то же время Гессенский дом — незначительный, и на случай разрыва был удобен. Вместе с тем Алиса была сродни английскому королевскому дому.

Известную роль в этом деле сыграл также высокий рост Александры Федоровны.

Дело в том, что у Николая II, повидимому на почве неудач его от малого роста, уже с ранних

лет развилась мания; он боялся людей высокого роста; по большей части, люди высокого роста имели на него влияние. — Победоносцев, Плеве, Витте, Трепов, Столыпин, Щегловитов, Штюрмер—все это были люди высокого роста.

Особенно терялся он перед новыми, доселе ему неизвестными, людьми высокого роста. И когда приходилось представлять ему таких, то его подготовляли, вышучивая неуклюжесть и громоздкость кандидата на высочайший прием. И все же, при появлении «великана», Николай вздрагивал. Так было и при первом представлении последнего председателя Гос. Думы Родзянко.

Бывали на этой почве курьезы.

Так, когда директором департамента духовных дел был назначен бывший губернатор одной из губерний Польши — Менкин, то придворные не знали, что делать. Он был мужчина колоссальный, значительно больше Родзянки. Менкин весил, как говорили, около 9 пудов. По виду он, действительно, напоминал движущуюся машину.

Долго подготовляли государя и, наконец, дали аудиенцию.

Когда Менкин вошел, царь вздрогнул и до того растерялся, что не проронил ни одного слова. Менкин ушел, так и не услышав царского голоса.

При обсуждении вопроса о том, насколько Александра Федоровна будет в состоянии держать в руках Николая II, — рост ее был учтен.

Николая женили.

НОВАЯ ЦАРИЦА.

Двор противился браку. Перспектива иметь хозяйкой Александру Федоровну мало улыбалась придворным. Суровая педантичная немка, воспитанная в строгой английской чопорности, — представляла серьезную угрозу фривольному режиму двора. Двор усиленно муссировал общеизвестный изъян, свойственный всему гессенскому дому: больную кровь. На почве наследственности все мужские представители Гессенского дома страдают гемофилией, т. е. болезнью кровеносных сосудов. Этой болезнью страдал и наследник Алексей. Малейшая царапина кровоточила месяцами, трудно заживая. Ему было около 4 лет, когда он упал. С тех пор он стал слаб на ноги. По мнению врачей, это произошло оттого, что у него лопнули и не заживали какие то сосуды. Женщины Гессенского дома страдают истеричностью, граничащей с психической ненормальностью. Живым примером была сестра Александры Федоровны — Елизавета Федоровна — жена вел. кн. Сергея Александровича. Типичная немка по воспитанию и происхождению, она, по прибытии в Россию, вскоре окружила себя богомолками, с которыми объяснялась на ломаном русском языке, стала усердно посещать монастыри, бить поклоны...

В ту же крайность впоследствии ударилась и Александра Федоровна.

Придворные с большим напряжением ожидали новой хозяйки. Встретил ее двор недружелюбно и это недружелюбие сохранилось до последних дней.

Двор всячески критиковал ее, с азартом подхватывая все ее недостатки, давал ей прозвища. Сначала ее прозвали немецкой гувернанткой, за ее манеру воспитания детей.

До последних дней Александра Федоровна не могла попасть в темп русского двора. Происходя из обедневшей немецкой семьи, она принесла с собой чисто немецкую расчетливость, которой не оставляла даже по отношению к своим родным. Ее отец ежегодно получал от царя пособия то на ремонт родового замка, то на лечение и т. д. Она сама урезывала размер этих сумм.

С размахом русского двора она никак не могла свыкнуться. Когда ей представили смету на Дом Трудолюбия, председательницей коего она состояла, она пришла в ужас оттого, что годичная сумма выражалась в цифре нескольких сот тысяч рублей, и наотрез отказалась утвердить смету.

Хитроумные царедворцы нашли способ. Они стали представлять ежемесячную смету вместо годичной. Прошло.

До последних дней она сама штопала чулки своих детей, что вызывало нескончаемые и часто злые насмешки и толки.

Через некоторое время эпитет гувернантки сменился эпитетом кухарки.

В своих беседах царедворцы так и именовали ее: «наша кухарка». Произошло это по следующему поводу:

Повар при дворе был на положении ресторатора. Он получал за обычные (не торжественные) завтраки по 75 коп., а за обеды по 1 руб. с персоны. Фрукты и вина шли особо и находились в ведении другого лица.

Сама царица строго следила за тем, чтобы повар не приписывал числа отпущенных завтраков и обедов.

Однажды повар подал заявление, в котором просил увеличить плату до 1 р. за завтрак и до 1 р. 25 к. за обед, мотивируя вздорожанием провизии.

Ему прибавили. Но пока он добился этого, ему пришлось выдержать довольно бурную сцену.

Царица призвала его и, в присутствии фрейлины Голенищевой-Кутузовой и графа Ламздорфа, пробрала его, настаивая на сохранении прежней расценки. При этом обзывала его мошенником и другими эпитетами, весьма мало подходившими для царственных уст.

Придворные, спокойно реагировавшие на Александровские «обкладывания», не могли примириться с таким «мещанством» и с того времени прозвали ее кухаркой.

Не менее характерная история произошла с придворным портным.

Николай II преподнес Вильгельму шефство какого то полка и распорядился в Берлине сшить за счет русского двора соответствующий мундир. Берлинский придворный портной, исполнив заказ, прислал счет на 3 с лишним тысячи марок. Царица вызвала русского придворного портного, с возмущением спрашивая, почему так дорого. Портной ответил, что это объясняется золотым шитьем.

В ответ на это царица заявила, что все портные — мошенники и действуют заодно.

Счет все же был оплачен.

Очень любили придворные наблюдать за царицей при ее игре в бридж. Она, особенно в первые годы, часто играла со старой царицей. Играли по маленькой. Проигрыш выражался в рублях. Когда она проигрывала, она страшно волновалась, на лице ее выступали пятна, и она заявляла, что больше играть никогда не будет.

Опасения двора за свою фривольную жизнь не оправдались. Чувствуя неприязнь, Александра Федоровна изолировалась от большинства придворных и, вместе с Вырубовой и излюбленными фрейлинами, составляла как бы особый мир.

Старая царица и большинство придворных продолжали жить своей жизиью.

Все пошло установленным порядком. С первых дней стала проявляться истеричность новой царицы.

Припадки истерии стали учащаться и принимать все более острый характер.

На Николая это действовало необычайно. Он боялся отказать ей в чем либо, опасаясь припадков, и в очень короткое время она целиком забрала его в руки.

Ходынская история окончательно развинтила ее нервы, и с этого времени истеричность царицы стала граничить с душевным расстройством.

ХОДЫНКА.

Со времени своего существования Москва не видывала торжества более пышного, чем коронация Николая II, происходившая 14 мая 1896 года.

Целую неделю двор перебирался из столицы в Белокаменную.

При въезде государя толпы народа встречали его еще далеко за городом. По дороге множество трибун, на которых толпились депутации и нарядные дамы.

Одна только трибуна производила мрачное впечатление — это трибуна московского университета.

Сопровождавший царский поезд хирург проф. Н. А. Вельяминов в своих записках пишет об этом следующее:

«Мрачное впечатление производила трибуна родного Московского Университета, стоявшая у самой Триумфальной арки и наполовину пустая. Несколько фигур профессоров, небольшая горсть студентов. Было ясно, что большая часть студентов не имела мундиров, а другая не была допущена, вследствие неуверенности начальства в их благонадежности. Очень многие студенты были высланы из Москвы полицией».

Город был убран с необычайной роскошью. Царский дядя постарался. Меры были при-

няты экстренные, как для охраны особ царских, так и для демонстрирования внешнего великолепия.

Но для безопасности народа, хлынувшего на парад,—мер принято не было. И закончилось дело небывалой катастрофой.

Не импонировал торжеству сам виновник.

«Маленькая фигура государя в большой короне, слишком глубоко и некрасиво сидевшей на его голове, для которой корона была слишком велика, и широкая мантия на его слишком узких плечах, как-то придавливали его; рядом с крупной фигурой императрицы, которая в короне казалась еще больше, — он казался еще меньше», — пишет Вельяминов.

На другой день после коронации царь и царица должны были показаться опять народу на Ходынском поле, где был устроен народный праздник. Для этого был воздвигнут особый павильон в русском стиле с балконом и террасою.

На поле еще накануне началась раздача народу царских подарков: аляповатая жестяная кружка с портретом царя и царицы, фунт колбасы и $^1/_2$ фунта монпансье.

За этими подарками явилось свыше 400 тысяч народу.

Многие прибыли издалека.

С утра в день, когда царь должен был появиться перед народом, стало известно, что на Ходынском поле произошла катастрофа и что погибло много народа.

В павильоне, где ожидали государя, избегали говорить про это. Вельяминов спросил у принца Ольденбургского, что случилось. Принц, знавший о катастрофе, ответил, что ничего не случилось, и отошел.

Вскоре приехал царь с царицей. Они прошли на балкон. Поклонились народу. Овации продолжались долго.

Вскоре государь уехал. Уехал он по настоянию охраны задними воротами, окольным путем.

Вельяминов с адмиралом Ломеном поехали по шоссе. Вот как он описывает катастрофу:

«По шоссе с Ходынского поля шла густая толпа; здесь были представители всех слоев населения, большею частью, простонародье; люди шли усталые, угрюмые, понуря голову; следов энтузиазма и подъема уже не было заметно; по пути между экипажами и пешеходами шагом пробирались платформы, запряженные четверкой лихих пожарных лошадей и покрытые брезентами. Пожарные правили лошадьми в своих блестящих медных касках. Из под брезентов по краям платформы висели человеческие ноги, местами торчали руки и выбившиеся человеческие головы мертвецов с обезображенными, вздутыми, синими, почти черными лицами задушенных. С платформы в пыль дороги капала какая-то черная жидкость. Не трудно было заключить, что при катастрофе жертв было не мало, ибо мы встретили уже несколько платформ с несколькими десятками трупов. В одном месте я увидел вблизи дороги какие-то балаганы с маленькими окошками, как окошки касс, и с какими-то изгородями перед ними. Наш кучер объяснил нам, что из этих окошек выдавали подарки, а изгороди были построены для того, чтобы удержать напор толпы и заставить людей подходить к окошкам по одиночке между изгородями, что именно здесь произошло несчастье: — от напора толпы изгороди, якобы, обрушились, люди упали и были задавлены следующими рядами напиравших людей. За балаганами было видно

еще много народа, там что-то происходило и стояли платформы пожарных. Я попросил у адмирала разрешения остановиться и подождать меня в коляске, пока я схожу за балаганы и узнаю, в чем дело. Идя к балаганам, я мог заметить, что грунт неровный, здесь были бугры и довольно глубокие канавки; несомненно, что люди, теснимые другими, не видя почвы под ногами, легко могли падать и быть смяты ногами других.

Когда я зашел за балаганы, я увидел ужасную картину: за несколько .сажен от балагана, вблизи сломаных перил, лежали груды трупов. Несколько рядов тел лежали друг на друге, как сложенный штабель дров; таких груд было несколько и каждая состояла из 5—6 рядов тел. Трупы лежали головами вместе и были так смяты и обесформлены, что нижние ряды казались плоскими, как бы сплющенными, такими, как сардинки, плотно уложенные в коробке. Ужасны были лица трупов, вздутые, синие, с пеной у рта и носа вокруг лужи черной крови, вероятно, вытекшей из легких. Трупы эти разбирали пожарные и добровольцы из публики, за ноги подтаскивая их по пыли и грязи к платформам. Среди трупов, судя по платью, были люди самого разнообразного социального положения и возраста — были женщины в самых разнообразных костюмах, молодые барышни, мастеровые, чиновники, гимназисты...»

Вельяминов сообщил об этом Марии Федоровне, и она приказала ему объехать все больницы и узнать число пострадавших.

Он поехал в канцелярию генерал-губернатора. Был уже седьмой час и в канцелярии никого не было. Дежурный чиновник замялся и сообщил, что, действительно, на Ходынке был несчастный

случай, при котором пострадало несколько человек. Когда Вельяминов резко заметил, что действует по поручению государыни и не допустит вранья, чиновник зарыдал и, всхлипывая, сказал, что ему запрещено сообщать кому-либо истину, между тем он знает, что жертв несколько тысяч; он умоляет его не выдавать. Вельяминов отправился к обер-полицеймейстеру, знаменитому полковнику Власовскому.

Полковник стал убеждать Вельяминова «не беспокоиться» о случившемся, так как «это пустяки,—несколько пострадавших от давки», и что «государыне не следует рассказывать подробностей, ибо они могут повлиять на ее нервы». Вельяминов попросил сведений, список больниц, где лежат пострадавшие, проводника и экипаж. Полковник заявил, что экипажа в его распоряжении нет, что сведения он сейчас соберет, позвонил и приказал вошедшему околодочному позвать кого-то. В это время в кабинет вошел директор департамента полиции Зволянский с бумажкой в руках и спросил, какие сведения у полковника Власовского; тот ответил какую-то цифру около 300 человек и в свою очередь, спросил Зволянского, какие сведения у него. Зволянский сообщил. Так они сосчитали в конце концов около 700 человек.

Вельяминов поехал в Мариинскую больницу. Там больных было много. Вид больных был ужасный — все такие же синие, почти черные, сильно опухшие лица с налитыми кровью глазами, часть их была без сознания, часть в бреду под влиянием психического возбуждения. Главный врач сообщил, что большинство в тяжелом состоянии, все с признаками тяжелой асфикции, у многих переломы ребер, других костей и легочные кровотечения.

Вельяминов объездил все больницы.

По мнению Вельяминова, по самому грубому и неточному подсчету, надо было предположить, что всего пострадавших было не менее 5000.

В этот вечер был бал во французском посольстве; государь и молодая императрица, довольные и счастливые, были на балу. Вельяминов и другие очевидцы уверяют, что они не знали о катастрофе. Это весьма вероятно и характерно для старого строя: вся Москва, вся Россия, весь мир к вечеру знал. Не знали только царь и царица.

Когда государь вернулся с бала, поздно ночью мать царя передала ему все подробности.

Великий князь Сергей Александрович, уже хорошо знавший все, в ночь «Ходынки» ужинал до 5 ч. утра в «Стрельне» с офицерами Преображенского полка, которым он раньше командовал. Там же кутил и Власовский.

Государь, узнав о катастрофе, немедленно назначил ревизию, поручив это дело графу Палену, которому немедленно был послан указ.

Граф Пален был известен, как человек беспристрастный и независимый. Воспитанный в строгих немецких правилах, чрезвычайно гордившийся своим происхождением, граф Пален принадлежал к небольшой группе бюрократов, проникнутых традициями реформы судебных уставов и потому державшихся несколько независимо. Он был в числе тех бюрократов, которые дерзали указывать царям на несоответствие законам тех или других мероприятий.

Великие князья ненавидели Палена, потому что, когда Сергей Александрович был назначен московским генерал-губернатором, Пален, в присутствии их, сказал Александру III, что не следует царских родственников назначать на

ответственные посты, так как они безответственны.

При Александре II Пален был в опале из-за «дерзкого» поведения его жены. Она была известной красавицей и приглянулась царю. Ей было дано понять, что царь ею интересуется. Она просила передать царю, что она слишком низкого происхождения, чтобы быть женой царя и слишком высокого, чтобы быть его любовницей.

Когда великие князья узнали о назначении Палена, они все явились к Николаю и заявили, что если следствие будет поручено Палену, то он, несомненно, постарается обвинить Сергея Александровича. Поэтому они требовали отмены этого назначения, грозя выходом в отставку и отъездом за границу.

Особенно настаивал на этом глава великокняжеских бунтарей — Владимир Александрович — дядя Николая.

Это тот самый Владимир, который растратил деньги, собранные на построение храма на месте убийства Александра II. Пришлось дать другие деньги и храм был построен.

На открытии храма был торжественно отслужен молебен, на котором молились о здравии царя и великих князей, в том числе и Владимира.

Николай испугался угрозы. К Палену был спешно послан чиновник, взявший указ обратно.

По возвращении двора из Москвы в Петергоф, ревизором был назначен покладистый министр юстиции Н. В. Муравьев, о взяточничестве которого ходили прямо легенды. В день получения назначения, Муравьев уехал в двухмесячный отпуск за границу.

А затем, когда успели все позабыть, когда свежие следы были заметены, Муравьев произвел

расследование и виновники получили «жестокое» возмездие: Власовский был смещен и какому-то небольшому чиновнику двора объявлен был выговор.

Так щедро рассчитался царь за 5000 человеческих трупов.

ПРИДВОРНЫЕ ПРОРИЦАТЕЛИ.

История Александры Федоровны после Ходынки приняла острый характер.

Придворным все чаще приходилось бывать свидетелями припадков, выражавшихся в резкой форме.

На почве той же истерии у царицы развилась страсть к мистицизму, впоследствии перешедшая в ханжество.

Мистицизм в виде пристрастия к спиритизму, оккультизму и пр. «наукам», впрочем, всегда был в фаворе при всех царских дворах.

Оно и понятно. Интриги, попойки, флирт все же недостаточно заполняют досуг придворных жизнь которых протекает в праздности и бездельи.

Александра Федоровна болезненно увлекалась мистицизмом. При дворе появились спецы по этой части, услужливо рекомендованные близкими к царице лицами.

Спецы по части таинственных наук вначале были иностранного происхождения.

Первым выдвинувшимся «спиритом» был некий Папюс. Ловкий француз искусно промышлял столоверчением, в короткое время составил себе кругленькое состояние и, надув кстати и своих покровителей, способствовавших его фавору,—

скрылся. По исчезновении его обнаружился ряд мошеннических проделок.

Одновременно при дворе появились богомолки, юродивые и пр. «Вода с Афона», земля, взятая от «гроба господня», ладонки, амулеты стали страстью Александры Федоровны.

Большим фавором пользовалась при дворе нашумевшая в свое время жена профессора Лохтина. Психически ненормальная, Лохтина помешалась на религиозности. В белом широком платье с разноцветными лентами и «ожерельем», состоявшим из множества евангелий, нацепленных на веревке, она разгуливала, производя впечатление помешанной,

Эта же Лохтина открыла Распутина и была его первой фавориткой.

Открыла Распутина Лохтина по указанию Витте, тогда еще не бывшего графом.

Как-то она собралась посетить скиты на Волге и в Сибири.

С. Ю. Витте посоветовал ей розыскать в селе Покровском сравнительно молодого «старца», успевшего приобрести большую популярность в Сибири.

Распутина Лохтина встретила в Казани и загорелась болезненной психически ненормальной страстью к нему. Когда впоследствии Распутин вошел, благодаря ей, в силу — Лохтина надоела ему. Он ее всячески третировал и бил ее — часто при гостях. Лохтина охотно принимала побои и нередко при посторонних, избитая, в синяках, лобызала его одежду.

Первое появление Распутина при дворе относится к 1902 г. Но тогда, не долго побыв, он не произвел особого впечатления.

В это время на горизонте ярко сияла звезда спирита Филиппа.

Филипп — лионский колбасник—был креатурой ректора духовной академии Феофана, пользовавшегося большим влиянием при дворе.

Хитрый Филипп своим искусным столоверчением и ловкими манерами буквально вскружил голову всем придворным. В короткое время доверие к нему стало неограниченным.

Его спиритические сеансы, во время которых вертящиеся столики предсказывали будущее, устраивали свидания с покойными предками — стали настоятельной ежедневной потребностью царицы.

И царь, и царица подпали под его влияние.

Больным местом царя и царицы было отсутствие наследника. Особенно страдала от этого царица, сознававшая, что, если не будет наследника, трон уйдет из рук Гессенского дома.

Между тем из года в год рождались дочери.

Предсказания богомолок и юродивых, делавших ставку на авось,—не оправдывались: все рождались, как острили при дворе, «сыновья женского пола».

Осторожный Филипп не позволял столикам предсказать сына. Царица была в отчаянии.

В 1902 г. у царицы появились симптомы, обычно знаменуюшие беременность.

Филипп рискнул и сделал ставку на сына. Послушные Филиппу столики на одном сеансе предсказали наследника. Филипп был в то время в апогее славы. Вера в него была бесконечна, и никто не усомнился в правильности его предсказания.

Торжествовали заранее.

Царицу перевели на режим беременной. Царь на радостях даровал Филиппу чин действительного статского советника и распорядился выдать ему диплом доктора медицины honoris causa.

С просьбой о выдаче такого же диплома царь обратился к французскому президенту.

Но во Франции знали, что Филипп шарлатан.

Царская просьба не была исполнена.

Это послужило поводом к порче отношений между Россией и Францией. Стали говорить о распаде франко-русского союза. Пошли даже слухи о разрыве сношений, причем тогда в широких кругах не знали причины охлаждения.

Почем знать? Быть может, на этой почве разгорелась бы война! Быть может, народ пошел бы на народ! Ведь власть была неограниченна, а престиж понимался своеобразно.

Но вскоре Филиппиада закончилась исключительным скандалом.

Ждали наследника. Ждали уверенно. Странным казалось некоторым отсутствие внешних признаков беременности у царицы. Но Филипп уверял, что фигура царицы скрадывает беременность.

И ему верили.

Однажды у царицы появились боли. Несколько преждевременно по расчетам.

Но ведь Филипп, — вернее, его столики, — не могли ошибиться.

Все были уверены, что грядет наследник. До того уверены, что об этом говорили определенно, настолько, что и вне дворцовых сфер стали ждать.

В виду ожидавшихся родов был вызван профессор Отт.

Каков же был конфуз, когда оказалось, что никакой беременности нет, а признаки имели под собой чисто нервную почву.

Получилось разочарование и скандал. Отта заставили написать фальшивый бюллетень — будто роды были, но прошли неудачно.

Еще до этого Филипп успел скрыться, захватив на память на значительную сумму царских брильянтов.

Передавали, что брильянты он получил следующим путем.

Он убедил царицу, что у него в Париже имеется знакомый ювелир-художник—единственный, который может сделать соответствующую красоте и ценности брильянтов оправу.

Брильянты исчезли вместе с Филиппом и не вернулись ни в оправе, ни без оной.

Ценность их восходила до полумиллиона.

Опасность войны с Францией миновала.

После этого страсть к спиритам ослабела.

Место заняли отечественные юродивые, старцы, богомолки. И всякого рода религиозные мистики.

Долгое время никто из них не выделялся на дворцовом горизонте. Распутин только входил в фавор. Появлялся он при дворе лишь урывками.

Но место свято не бывает пусто.

И вскоре при дворе выдвинулся в качестве прорицателя Митька Блаженный.

Митька был юродивый, привезенный из Оптиной пустыни, расположенной в Козельском уезде. Это был типичный эпилептик, с выпученными, бессмысленными глазами и с характерным постоянным слюнотечением. Говорил он не вполне членораздельно, так что понять его было довольно трудно. При встречах с людьми Митька неизменно лобызался. Чванные бюрократы безропотно переносили это чеаомкание, оставлявшее на их родовитых ланитах липкую слюну, которую они тут же украдкой брезгливо вытирали. Митька проживал в Царском Селе. Вместе с ним прожи-

вал его земляк, игравший при нем роль антрепренера—Елпидифор Кананыкин.

Мещанин Козельского уезда, он же прогоревший торговец, Кананыкин словоохотливо пояснял всем, что, познав суету жизни, он решил посвятить себя блаженному, вследствие чего, по его словам, на него снизошло божье благоволение, почему он разумеет Митьку и понимает сокровенный смысл его слов.

В поддевке, в ярко начищенных сапогах бутылками, с иконописной бородой и хитрыми, сметливыми глазами — Елпидифор Кананыкин великолепно играл свою роль и охотно принимал, а часто и выпрашивал щедрые даяния на предмет, как он пояснял, построения в Оптиной пустыни храма в честь блаженного.

Кананыкин хорошо изучил Митьку, и, предчувствуя приближение припадка, водил его в царские покои. Здесь Митька катался по полу, изрыгая обильную слюну и нечленораздельные звуки.

Царь и царица с напряжением наблюдали за припадками и выслушивали Кананыкина, переводившего на общепонятный язык прорицания юродивого.

Когда Трепов был назначен дворцовым комендантом, он поселил эту парочку в своих покоях и самолично водил их в царские аппартаменты на предмет прорицания.

Хитрый Кананыкин, предвидя фавор Распутина, и, успев собрать значительную сумму денег, решил сняться.

В конце 1905 года на одном из сеансов прорицаний он заявил, что Митька настоятельно хочет помолиться в родной Оптиной пустыни.

Оба исчезли с горизонта.

СИПЯГИН И ПЛЕВЕ.

Назначение Сипягина на пост министра внутренних дел вызвало недоумение даже среди привыкших ничему не удивляться придворных. Сипягин был широко известен, как человек исключительно недалекий.

Еще, когда он был управляющим канцелярией Николая, он блестяще оправдал такую свою репутацию. Общественное движение тогда становилось все интенсивнее. И вот Сипягин вздумал спасти Россию от крамолы. Он выработал чисто Маниловский проект, по которому канцелярия, им управляемая, становилась центром. По проекту всем гражданам предоставлялось право подавать в канцелярию жалобы на всех администраторов до министра включительно. Кроме того, всем предоставлялось право в канцелярию же вносить проекты по вопросам устройства и реформы страны.

Проект вызвал общий смех. Победоносцев жестоко раскритиковал его, вследствие чего проект даже не был поставлен на обсуждение.

Насколько Сипягин был популярен в смысле ограниченности, можно судить по следующему эпизоду.

Вскоре после убийства Сипягина, в заседании государственного совета обсуждались вопросы,

связанные с общим положением дел внутри страны.

В этом заседании участвовал генерал Драгомиров, киевский генерал-губернатор. Это был своеобразный человек: едкий, остроумный, чудак, позволявший себе задевать в своих остротах всех. Ему многое прощалось. Когда зашел вопрос о направлении внутренней политики, Драгомиров в своей речи выразил сомнение в том, есть ли у нас вообще внушренняя политика и может ли она быть, если на пост министров назначают «без разбора кого попало».

При этом он сказал:

— Был раньше министром Сипягин. Он был дурак, да к тому еще и егермейстер. Его убили. Теперь министром Плеве. Какая у него внутрення политика — неизвестно. Опасаюсь, что у него и внутри и снаружи вместо политики — полиция. (Тогда полиция делилась на наружную, прозванную в народе фараонами, и внутреннюю — охранников).

Немедленно вслед за назначением министром, Сипягин усердно занялся искоренением крамолы. Положение его все время было шаткое. Все считали пребывание его на посту недоразумением. В это время восходила звезда Плеве. Его считали энергичным и способным. Собственно, уже тогда на нем держалась вся «внутренняя политика». Еще при жизни Сипягина Плеве был на линии министра внутренних дел.

Но у него был серьезный конкурент в лице другого товарища министра внутренних дел П. Н. Дурново.

Назначение Дурново товарищем министра внутренних дел произвело на бюрократические круги ошеломляющее впечатление. Никто не допу-

скал мысли, что, после его скандального удаления с поста директора департамента полиции, Дурново может снова всплыть.

История падения Дурново при Александре III весьма пикантна.

Дурново был тогда директором департамента полиции. Приревновав свою даму сердца г-жу Минус к бразильскому посланнику, он не постеснялся под каким то предлогом произвести обыск у своего соперника с тайной мыслью обнаружить переписку коварной изменницы. Бразильский посланник нанес Дурново пощечину. На этой почве разыгрался скандал, грозивший дипломатическими осложнениями, так как иностранные послы усмотрели в обыске нарушение экстерриториальности посольских жилищ. Александр III, ознакомившись с делом по докладу министра иностранных дел, наложил резолюцию: «Убрать эту свинью в 24 часа». Карьера Дурново была таким образом закончена навсегда. Каково же было всеобщее изумление, когда при Сипягине Дурново получил назначение товарища министра.

Вскоре эта история выяснилась.

Сипягин решил иметь в качестве своего ближайшего помощника человека, который, хорошо зная это дело, в то же время не имел бы шансов на пост министра. Более всех подходил к таким требованиям Дурново.

И Сипягин пустился на хитрость. Он исходатайствовал у царя разрешение взять к себе в помощники Таврического губернатора однофамильца Дурново. А в указе распорядился напечатать Петра Дурново. Как только указ появился в Правительственном Вестнике, Сипягин поехал к царю и доложил о произошедшей «ошибке», при этом он указал, что Дурново уже достаточно постра-

дал, и что он все же человек очень дельный и преданный престолу, почему он и просит царя оставить его тем более, что неудобно печатно, признаться в такой ошибке.

Дурново так и остался товарищем министра и, конечно, сейчас же стал стремиться к курульному креслу.

Человек большого ума и еще большей ловкости, знавший все ходы и выходы, осведомленный обо всех интригах, Дурново очень скоро обратил на себя внимание. Постепенно даже стали забывать о знаменитой резолюции Александра III. И вскоре он вышел на линию министра.

Когда убили Сипягина, в бюрократических кругах пошла жестокая борьба за кандидата на пост министра. И Дурново, и Плеве имели сильных сторонников. И тот, и другой были по сердцу Николаю, как сторонники твердой власти и как решительные борцы с крамолой.

Нерешительный Николай склонялся то в одну, то в другую сторону. В день похорон Сипягина, утром, Дурново получил сведения о том, что его кандидатура будто бы решена. За гробом в одном ряду шли Плеве и Дурново и рядом с ними Штюрмер и Платонов. Дурново был очень оживлен и, уверенный в своем назначении, сказал Плеве:

— Надеюсь, мы с вами будем ладить.

Он считал себя уже министром.

На другой день было опубликовано назначение Плеве.

Плеве оставил Дурново на посту товарища, но отстранил от политики, назначив заведывать почтой и телеграфом.

Тогда Дурново переменил фронт. Он стал левым, стал усердно принимать земских и городских

деятелей и вел такие беседы, что даже прослыл либералом.

Плеве повел «твердый» курс. Ссылки, аресты, всевозможные репрессии — все это стало практиковаться в широкой степени.

Весьма энергично и деятельно помогал ему директор департамента полиции Лопухин, которого Плеве переманил из министерства юстиции. Лопухин был прокурором на юге, если не ошибаюсь в Харькове. И считался «левым». Познакомившись с ним, Плеве, после первого же разговора, пригласил его на пост директора департамента полиции. Лопухин сразу взял такой курс, что превзошел самого Плеве. По его настоянию проводились такие репрессии, на которые не решался даже последний. Б. В. Штюрмер однажды показал мне переписку по поводу знаменитого разгрома Тверского земства. Из этой переписки было видно, что Плеве не решался пойти на этот шаг, но Лопухин настоял на этом разгроме, указывая, что эта мера необходима во избежание возможных эксцессов.

Ни при ком из директоров департамента полиции не было столь мрачного режима, как при Лопухине.

Ни при ком так пышно не расцвела провокация, как при Лопухине. При нем расцвели карьеры Азефа, Гартинга-Ландезена и других провокаторов.

Между тем, по мере усиления репрессий, учащался террор и все возрастало общественное движение.

Во время одного из своих пребываний в Царском Селе в 1903 году Распутин предсказал рождение наследника, заявив при этом, что надо «крепко молиться».

И тогда было принято решение поехать в Саров на открытие истлевших мощей нетленного Серафима Саровского.

Здесь преследовалась двойная цель: вымолить наследника и объединиться с народом на почве его исконных верований.

ПОЕЗДКА ЦАРЯ НА БОГОМОЛЬЕ.

Царь едет в Саров молиться богу о даровании ему сына!

Этот лозунг был подхвачен. Изо дня в день печатались статьи в официальных, официозных и частных газетах.

Все, как будто по специальному распоряжению, на все лады доказывали, что эта поездка знаменует подлинного русского царя. Царское богомолье «на народе» напоминает, мол, добрые старые нравы московских царей.

Поездка эта, по общему мнению печати, должна спаять народ с царем. Лозунг «самодержавие, православие, народность» повторялся по сему случаю бесконечно.

Повсюду описывались чудеса, происходившие в Сарове. Пуще всех усердствовали в этом отношении «Биржевые Ведомости». Каждый день захлебываясь, газета сообщала об исцелении хромых, слепых, немых. Еще до поездки государя «Биржевые Ведомости» командировали в Саров двух наиболее видных сотрудников, в том числе А. Измайлова.

Единение царя с народом стало лозунгом дня.

Как же царь «объединялся» с народом во время поездки по примеру московских царей?

По всей линии железной дороги от Петергофа до Арзамаса цепью стояла военная охрана, в составе нескольких корпусов.

Но и этого показалось министру Плеве мало для охраны объединявшегося с народом царя. Была поставлена на ноги вся полиция.

Вот как описывает это путешествие один из свиты, сопровождавшей царя в Саров:

«По пригородам Москвы все улицы, прилегающие к полотну, были пусты: туда никого не пускали. Все дворы были пусты. В каждом дворике было поставлено по городовому. У каждого забора, спиной к поезду, лицом в сторону двора, смотрел через забор агент. Мы ехали как будто по вымершим кварталам, окруженные тремя цепями охраны. То же и за Москвой, в дачных местностях, где дачи стоят параллельно железной дороге — все было пусто, калитки на запоре, все словно вымерло».

В пути из окон поезда можно было видеть в поле толпы крестьян. Они стеклись из окрестностей, чтобы посмотреть царя. По распоряжению Плеве, их пускали не ближе, чем за полверсты. Из Арзамаса в Саров поехали на лошадях. Здесь уже началось «объединение с народом». Помимо трех цепей охраны, здесь у дороги были расставлены несколько тысяч крестьян, собранных полицией. Всем им были предварительно розданы новые рубахи. Стояли они попарно, на некотором расстоянии. По распоряжению Плеве, пары эти были расставлены спиной друг к другу, причем было строго воспрещено поворачивать головы.

При въездах и выездах из городов и сел, расположенных по дороге, шеренгами были расставлены мужчины и женщины отдельно. Мужчинам были заранее выданы рубахи, женщинам платки.

Хотя все эти представители «народа» были рекомендованы полицией, тем не менее предусмотрительный Плеве распорядился на каждую деревню выдать рубахи и платки особого цвета. Если бы где нибудь обнаружилась крамола, то по цвету рубахи или платка можно было бы узнать, где корень зла.

В самом Сарове, куда стеклось к приезду царя около двухсот тысяч богомольцев, были приняты все меры к охране царских особ: конная и пешая полиция, жандармы и агенты всякого рода кишмя кишели. Но мер санитарных, а также для прокормления собравшихся не было принято никаких. Командированный до приезда царя доктор Коренев установил невероятную антисанитарную картину: богомольцы жили на открытом воздухе; среди них много кишечных заболеваний, брюшной тиф и оспа. Больные лежали тут же на открытом воздухе, в перемешку со здоровыми. Вся питьевая вода была загрязнена.

Толпа была голодна.

«В каком-то балагане стояла воинская команда. Солдат вышел оттуда и высыпал прямо на дорогу в грязную пыль остатки хлеба. Голодная толпа бросилась на эти крохи, как стая голодных собак, и стала выбирать из пыли корки и тут же поедать. Такие сцены можно было наблюдать почти постоянно»,—пишет очевидец.

А газеты захлебывались восторгом по поводу единения царя с народом.

Торжественно состоялось перенесение гроба Серафима Саровского. Гроб несли царь и свита. Царь шел впереди, а сзади гроб поддерживал великий князь Сергей, по бокам прочая свита. Все были высокого роста, только царь маленький. Гроб все время кренило вперед. Царь обливался потом,

пыхтел. С трудом донесли гроб до места. При торжественной службе, долженствовавшей знаменовать объединение царя на почве исконных верований, царя окружали: две представительницы Гессенского дома—царица и ее сестра Елизавета, барон Фредерикс, гр. Бенкендорф, принц Ольденбургский, граф Гендриков, министр Плеве — все неправославные. Из православных были обер-прокурор Саблер (из евреев), граф Воронцов-Дашков с женой и профессор Вельяминов. Для инсценирования народа в эту блестящую плеяду было допущено несколько юродивых.

Между тем полицейские не дремали. Каждый день составлялись протоколы о чудесных исцелениях, очевидцами которых они были. Проф. Вельяминов не без юмора рассказывал мне, как ему пришлось изощряться, чтобы избежать присутствования при этих исцелениях. Между тем этого настоятельно требовал принц Ольденбургский. Очень уж хотелось иметь авторитетное имя Вельяминова под протоколом о чудесных исцелениях.

Царь и царица купались в «чудодейственном» источнике. Этот источник, будто бы, исцелял всех, кто к нему приходил. От всех недугов. Но к нему обязательно надо было итти пешком. В один прекрасный день дорога, ведшая к этому источнику, была очищена от посторонних. Александра Федоровна и ее сестра, под руки, буквально тащили парализованную на обе ноги фрейлину Орбельяни. Исцеления, однако, не последовало.

В последний день пребывания в Сарове, царь с царицей и со всей свитой пешком пошли в часовню, построенную на том месте, где когда то жил Серафим. Пути около двух верст. Здесь Плеве решил устроить настоящую «встречу

народа». Для этого собрали самых верных людей. Но их оказалось мало, а надо было народу на весь путь. Прибегли к чисто опереточному приему: как только царь отходил вперед, — оставшиеся позади, за спинами впереди стоящих, быстро пробегали вперед. Получилась сплошная стена на всю дорогу.

На обратном пути царь для сокращения пути пошел лугом. Но там оказалась на небольшом расстоянии от земли проволока, которую полиция предусмотрительно протянула на случай, если бы пришлось задержать народ. Царь об эту проволоку слегка споткнулся, а шедший за ним Фредерикс распластался и расквасил нос. Придворному фельдшеру Полякову пришлось починять испорченную наружность придворного красавца.

20 июля царь со свитой поехали в Дивеевский монастырь, расположенный в 10 верстах от Сарова. Здесь, в отдельном домике, жила юродивая Паша, славившаяся на всю округу, как пророчица. Это была помешанная, которая иногда пророчествовала, а когда бывала не в духе или ей не нравился пришедший, то она накидывалась с самой отборной площадной руганью и, как пишет один из сопровождавших царя, «показывала посетителям части тела, которые обычно скрывают».

Царь, царица и царица-мать пошли к ней. Вернулись они настолько удрученные, что не вышли к общему столу, а обед велели себе подать в особой комнате.

Потом стало известно, что Паша «встретила их грубой руганью и в их присутствии исполняла свои нужды». А когда ошеломленные царские особы удалились, она им вслед бросила какое то страшное предсказание.

Кн. Хилков передавал мне, что когда он однажды спросил Марию Федоровну о том, что происходило у Паши, она побледнела и с несвойственной ей резкостью сказала:

— Никогда не спрашивайте меня об этом кошмаре.

Такой же ответ она дала проф. Вельяминову, когда он, на обратном пути из Сарова, пытался узнать подробности о визите к юродивой.

Так царь объединился с народом, по примеру московских царей.

Юродивая Паша блестяще закрепила это объединение.

ЯПОНСКАЯ ВОЙНА.

Надежды бюрократии на русско-японскую войну не оправдались.

Все ожидали—даже были уверены, что Россия «в два счета» изничтожит «макак» и что победа поможет окончательно подавить все возраставшее общественное движение.

В. К. Плеве об этом говорил вполне определенно:

— Дайте мне небольшую победу, и я покончу с крамолой.

Вот почему война эта была встречена в правящих сферах с большим удовлетворением.

В то же время печать захлебывалась от патриотизма и предвкушения последствий войны и повторяла уверения тогдашних стратегов, что войну даже не придется вести:

— Шапками закидаем!

Роль главнокомандующего взял на себя «сам» военный министр Куропаткин.

Его провожали на войну с особенной пышностью.

Провожали не только люди: дебаркадер б. Николаевского, ныне Октябрьского вокзала, буквально пестрел иконами.

В успехе никто не сомневался, и его чествовали, как готового героя.

Известный своим остроумием и чудачеством командующий войсками Киевского округа ген. Дра-

гомиров со свойственной ему едкостью заметил по этому поводу:

— Что-ж! Нам воевать нынче легко. У нас готовые доморощенные герои. Суворов, чтобы героем стать, проделал ряд походов, прошел с невероятными трудностями Альпы. А Куропаткин перешел дебаркадер — и стал героем. Суворов под пулями, а Куропаткин под иконами.

Драгомиров собственно намечался в руководители войны, несмотря на то, что был тогда в опале.

Его очень любили, прощали ему многие выходки, но его последняя выходка «переполнила чашу».

Это было незадолго до Японской войны. В Киеве произошли студенческие беспорядки и гражданские власти обратились к Драгомирову с просьбой дать войска для их подавления.

Драгомиров отказал.

— Мои солдаты не воюют с мальчишками.

Тогда Драгомирову было послано приказание самого царя силой подавить волнения.

Драгомиров распорядился произвести осаду университета по всем правилам стратегии.

Пустовавший университет был окружен войсками и орудиями. Драгомиров телеграфировал в столицу:

«Войска в полной боевой готовности. Орудия на местах. Неприятеля не видать».

От участия в войне Драгомиров уклонился, считая авантюру опасной.

Это стало оправдываться уже с первых действий.

Начались поражения.

Печальный конец можно было предвидеть уже с самого начала.

Но печать продолжала уверять в близости победы. Руководителям войны — всяким генера-

лам—пелись дифирамбы. Каждое поражение преподносилось под таким соусом — что это было осуществлением тонко разработанного плана, который приведет к победному концу.

Печати предписывалось всячески подымать заметно падавшее в народе настроение тем более, что явственно стало сказываться пораженческое течение левых кругов. Пришлось изощряться над подысканием поводов к внушению подъема. Факты таких поводов не давали. Вскоре усердствовавшей печати пришлось надежду перенести с Куропаткина на бога.

Случилось так, что японская миноноска наткнулась на собственную мину и потонула.

Передовик «Бирж. Ведомостей» Бурдес по этому поводу написал статью, начинавшуюся словами: «Велик бог земли русской». В статье проводилась мысль, что это бог устроил аварию японской миноноски в отместку за поражения, нанесенные японцами русским.

Но русский бог, уничтожив японскую миноноску, на этом прекратил свое участие в войне.

Дела пошли все хуже.

Перспектива победы для подавления крамолы испарилась. Общественное движение возрастало. Все более терялись бюрократы.

Растерялся и сам Плеве, сделавший было попытку подойти к успокоению страны с другой стороны.

При участии члена гос. сов. Платонова он выработал проект суррогата конституции: по этому проекту предполагалось реформировать Гос. Совет, введя в него выборных от земств представителей в числе равном с числом назначаемых.

Проект этот движения не получил. Подобно проекту Сипягина, он встретил отпор со

стороны Победоносцева, еще имевшего тогда влияние.

В это мрачное для царя время родился долгожданный наследник. Царь и царица были уверены, что это последствие Распутинского предсказания и молитв в Сарове.

Был опубликован манифест. Крестьянам простили недоимки, которых все равно нельзя было взыскать. Даже евреям дали незначительные льготы — разрешили проживать в нескольких десятках сел. Чтоб не было ущерба закону—эти села переименовали в местечки, а по закону в местечках разрешалось жить евреям.

УБИЙСТВО ПЛЕВЕ.

Убийство Плеве произвело исключительный переполох в бюрократических кругах. Это третье за короткое время убийство министров (Боголепов, Сипягин, Плеве), не считая других сановников, впервые вызвало странные разговоры и ядовитые сомнения, так как стало известно, что Плеве знал о том, что на него готовится покушение.

Последние месяцы жизни в ведомстве Плеве установилась непонятная атмосфера. Отношения между Плеве и Лопухиным испортились и приняли своеобразный характер. Плеве неоднократно говорил своим близким, что Лопухин ведет какую-то свою непонятную ему, Плеве, линию, и что он окончательно потерял к нему доверие.

Ему неоднократно советовали дать Лопухину отставку. Он с этим соглашался. Но не осуществлял. Пошли разговоры, будто Плеве боялся Лопухина. В кругах много говорили об этом: знали со слов чиновников, присутствовавших на докладах, что Плеве избегал взгляда Лопухина, а Лопухин взгляда Плеве. Получалось впечатление, что разговаривают два притаившихся врага.

О том, что Плеве знал о готовящемся на него покушении, видно из следующего.

Приблизительно недели за две до убийства, Плеве, будучи у члена Гос. Сов. Платонова, сообщил ему, что в его министерстве творятся странные вещи и что он из сообщений агентов знает о готовящемся на него покушении, так как кому-то нужен его пост. Он бессилен что-либо сделать, ибо — как он выразился — департамент полиции от него ускользнул.

На заявление Платонова о том, что надо удалить Лопухина, Плеве ответил, что теперь уже поздно, что он все меры принимает, чтобы выяснить в чем дело, но ничего не может сделать, и потому он решил положиться на волю божию.

Накануне убийства Плеве, повидимому, получил сообщение о предстоящем покушении.

В этот день он до полуночи был у известного славянофила ген. Богдановича, к семье которого был очень близок.

Уезжая около 12 часов, он как-то необычно горячо прощался.

Ген. Богданович заметил:

— Что это вы прощаетесь, как будто уезжаете надолго?

— Весьма возможно, — ответил Плеве.

Приехав домой, он долго, чуть не до утра, сидел в кабинете, приводил в порядок свои бумаги.

В последние минуты решил было переменить маршрут и поехать в Петергоф не поездом, а пароходом, но передумал. Перед тем как выйти, он обошел все комнаты, а при выходе подошел к курьеру Меньшагину [1]) и впервые подал ему руку, сказав при этом:

---

[1]) Курьер Меньшагин служил в министерстве внутр. дел с малых лет. Ко дню 50-летия службы царь дал ему чин действительного статского советника. В этом звании Меньшагин продолжал оставаться курьером.

— Дай бог, чтобы мы с тобой увиделись.

По дороге он был убит.

Лопухин вскоре получил отставку и был назначен губернатором в Остзейский край. Когда началась «весна», Лопухин резко переменил курс, сделался «либеральным» губернатором, и чтоб подчеркнуть это, отменил цензуру. За это он был удален, но уже с маркой «либерала». Общественное настроение было до того повышено, что Лопухина охотно восприняли в лоно либерализма. Печать восторгалась «мужеством» Лопухина, забыв его вчерашнюю деятельность в департаменте полиции. Лопухин даже пытался впоследствии сделаться членом партии к.-д. Кадеты однако не решались принять его в свою среду. Лопухину дали понять, что это неудобно, и он вынужден был отказаться от своей мысли.

СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ.

Перед вопросом о назначении преемника Плеве бюрократия стала втупик. Помимо общей растерянности, пришлось столкнуться с необычным явлением: не было охотников на этот пост, не было и борьбы за отдельных лиц, «имевших шансы». Очень уж напуганы были террором.

Все споры сосредоточились не на кандидате, а на вопросе о том, продолжать ли твердый курс или пойти на уступки. Но даже у завзятых реакционеров в тот момент не хватило духу настаивать на твердом курсе.

И решено было пойти на уступки.

Тогда-то и была выдвинута кандидатура ген.-губернатора виленской, ковенской и гродненской губерний — кн. Святополк-Мирского.

Кандидатура эта была выдвинута салоном графа С. Д. Шереметева, на близкой родственнице которого был женат Святополк-Мирский. Салон этот долгое время при Николае II играл большую роль. Здесь создавались и разрушались карьеры. Попасть «на Фонтанку» (в салон Шереметева) считалось уже сделанной карьерой.

Шереметев очень гордился своим богатством, влиянием, происхождением. Это был чванливый меценат, покровительствовавший одновременно

пожарному делу и музыке. Его пожарная дружина и его оркестр спорили между собой в популярности.

Чванливость его кончалась, однако, там, где начинались денежные интересы. И когда Шереметев возбудил перед сенатом ходатайство о назначении опеки над его старшим сыном, ведшим разгульный образ жизни — чванливость его не помешала ему в ходатайстве своем указать на то, что сын его психически ненормален на почве сифилиса, которым последний, «страдая половым бессилием, заразился на почве противоестественных половых сношений».

Опека была назначена...

Святополк-Мирский при назначении получил директиву успокоить страну.

Назначение Святополк-Мирского на предмет установления «весны» является одним из крупнейших недоразумений.

Святополк-Мирский, положивший начало «либеральному» режиму, по своим воззрениям был типичный реакционер, превзошедший в своей принципиальной реакционности — самого Плеве.

Одновременно с весной, Святополк-Мирский был творцом права всех губернаторов издавать «обязательные постановления».

Эти «обязательные постановления» были наиболее тяжелым явлением в русской жизни. Суть этого губернаторского права была в том, что администраторам предоставлялось изымать из сферы ведения судебных органов любое преступление и карать без суда и без допроса по своему усмотрению.

До Святополк-Мирского право издавать обязательные постановления предоставлялось только администраторам местностей, объявленных на положении чрезвычайной или усиленной охраны

и то в области вопросов, касавшихся охранения общественного спокойствия и государственной безопасности.

Правда, при Николае II на этом исключительном положении находилась большая часть России. Мера эта по закону вводилась не более как на 1 год. Но каждый год возобновлялась. И многие местности в царствование Николая не выходили из положения об усиленной или чрезвычайной охраны.

Но были все же губернии, находившиеся на «нормальном» положении. В частности на таком положении находились виленская, ковенская и гродненская губернии. Политика была такова, что руссифицирование края проводилось под маркой миролюбия, имевшего, конечно, внешний, декоративный характер.

Святополк-Мирский в начале 1904 г. возбудил ходатайство о разрешении во вверенной ему области издавать обязательные постановления, не вводя положения о чрезвычайной охране.

Но Плеве воспротивился этому, считая это слишком реакционным мероприятием и слишком противоречащим закону.

Вскоре царь проезжал через Вильно, направляясь в Скерневицы. В Вильно на вокзале Святополк-Мирский добился от царя разрешения издавать обязательные постановления.

А когда он сделался министром, он провел в установленном порядке право для всех администраторов издавать обязательные постановления. С этого момента начался форменный разгул администраторов. Естественно усмотрев в этом акте усиление своей власти, губернаторы и градоначальники развили произвол до неограниченных пределов. При посредстве обязательных

постановлений, они заменяли собой суд и чинили расправу по своему усмотрению, сводили личные счеты, высылали мешавших им мужей своих любовниц.

Вологодский губернатор Лопухин на основании своего обязательного постановления о борьбе с лицами, грозящими общественному спокойствию, арестовал и выслал мебельщика, требовавшего от Лопухина платы за приобретенную им мебель.

Ген. Рейнбот в Москве, на этом же основании, высылал всех, неугодных ему и его приятелям. У него, между прочим, был такой классический случай, установленный впоследствии одним из чинов сенаторской ревизии: Какая-то девица из аристократической семьи увлеклась молодым человеком простого звания и решила выйти замуж за него, вопреки воле родителей. Они обратились к Рейнботу. Последний вызвал молодого человека и предложил ему отказаться от «неравного» брака. Тот не согласился и был выслан, как угрожающий общественному спокойствию и государственному порядку.

Одесский генерал Толмачев издал обязательное постановление, воспрещавшее евреям покупать некошерное мясо. Эту меру, как он мне объяснил в личной беседе, в бытность его впоследствии в Петрограде, он провел в целях удешевления мяса для христианского населения.

«ВЕСНА».

Широкой публике Святополк-Мирский был известен только, как творец весны. Началась эта весна после того, как Святополк-Мирский в беседе с французским журналистом Гастоном Леру, заявил, что вопреки своим предшественникам он намерен управлять министерством, руководствуясь принципом доверия к русскому народу, в добрых стремлениях которого он нисколько не сомневается.

И так его устами правительство выразило доверие народу.

Этот лозунг либералы подхватили с энтузиазмом. Здесь усмотрели намек чуть ли не на конституцию. Слово это однако выговаривать печатно не решались. Стали прибегать к эзоповым приемам. Вместо слова «конституция» печатали «кон... юнктура».

В обществе любимыми словами стали слова, начинавшиеся со слога: «кон»; коньяк, контора, консул и т. п., причем установилась манера чуть приостанавливаться на первом слоге при выговоре этих слов.

Маститые либералы всячески муссировали весну.

— Это только начало, а там все пойдет надлежаще.

Вскоре стало известно, что Святополк-Мирский сговорился с тверскими земцами и разрешил им съезд в Ленинграде.

Тут уж началось форменное ликование.

Шутка ли: те самые земцы, которых недавно разгромил Плеве, те самые земцы, которые вскоре по воцарении Николая II дерзнули во время аудиенции намекнуть на конституцию, на что последовал грубый и резкий ответ:

— Бессмысленные мечтания.

С этим совпал выход газеты Л. В. Ходского «Наша Жизнь». В первом номере, вышедшем в день открытия съезда, нашумевшая статья С. Булгакова.

В статье довольно таки эзоповским языком народ призывался к действию и было несколько намеков, которые, конечно, истолкованы были распространительно. Кончалась статья фразой:

«Скажи свое решающее слово, о, русский народ».

Газета была конфискована и вскоре «расконфискована». За номер платили баснословные деньги.

Маститые либералы при встречах поздравляли друг друга и лобызались.

Одновременно стали организовываться союзы интеллигентских профессий. Стали все более выявлять себя существовавшие союзы пролетарские.

Весна — весной, а внутренняя политика своим чередом.

Прежде всего последовало запрещение печатать слово «союз».

Печать со свойственной ей изобретательностью нашла другое слово: «объединение».

В газетах запестрели такие фразы:

«За гробом шло: объединение приказчиков, объединение древообделочников» и т. д. Не было людей, были только объединения.

Публика, ждавшая известий о предстоящем съезде, была разочарована: в газетах ни слова, ни намека. Оказалось, что земцы получили разрешение на съезд на условиях: чтобы не было на съезде ни одного постороннего и ни одного журналиста, чтобы никто не знал ни о дне, ни о месте, где будут происходить заседания, чтобы земцы сохраняли строгую тайну и не говорили никому о том, что происходит на съезде, чтобы не печатать без ведома министра своих постановлений.

Печать получила предписание ничего не писать о съезде.

Мы, журналисты, очутились в необычайно тяжелом положении: происходит такое исключительное по тем временам событие, а мы не только писать ничего не можем, но даже не знаем, что̀ происходит.

Я работал тогда в «Руси», в коей близким сотрудником был А. А. Стахович, один из деятельнейших организаторов съезда.

О съезде он не говорил ни слова даже редактору А. А. Суворину.

Конечно, от печати земцам не удалось укрыться.

Стоило это огромных усилий.

«Либеральные» и «крамольные» земцы держали себя, как напуганные чиновники. Слово, данное министру, они считали нерушимым.

Должен признаться, что никогда мне не пришлось возиться с бюрократами столько, сколько с земцами, пока мне удалось «распропагандировать» кой-кого. Характерно, что словоохотливее в конце концов стали представители наиболее захолустных земств. Эти «второстепенные» и жили особо, в гостинице «Париж» на ул. Гоголя. Другие жили во «Франции» и «Гранд Отеле».

Однако, адрес квартиры, где было назначено первое заседание, тщательно скрывался. Предварительные совещания происходили в гостинницах, чаще всего у И. И. Петрункевича, занимавшего в «Отель де Франс» номер в несколько комнат; нарочито выбрали для этого номер, выходивший на Мойку, в отдалении от главного подъезда.

Конспиративность заседаний однажды была нарушена моим появлением.

И. И. Петрункевич встретил меня заявлением, что журналистам здесь не место.

Я заявил, что не уйду, но успокоил его, сказав, что писать я все равно не могу — воспрещено.

В конце концов, я остался, но с меня взяли слово, что я не буду разглашать ни сведений, ни того, что я был на этом «тайном» совещании.

При мне как раз заканчивались разговоры на тему об аграрном вопросе в связи с предстоящим съездом и с программой организовывавшейся тогда к.-д. партии.

Помню курьез.

По окончании дебатов — законченных, повидимому, в виду моего присутствия несколько ускоренно, — сели пить чай.

Набоков не без усмешки обратился ко мне:

— Что вы можете сказать по аграрному вопросу?

В том же шутливом тоне я ответил:

— Все мое земельное угодье — это три аршина, которые я получу после смерти моей на Преображенском кладбище. На это мое угодье едва-ли кто будет покушаться. А вот у вас тысячи десятин. Так заботьтесь вы по старой поговорке: ваша музыка, ваши танцы, ваша и свадьба.

С невероятным трудом мне удалось впоследствии узнать, что первое заседание съезда на-

значено на 6 ноября в доме гр. Паниной, падчерицы И. И. Петрункевича (Фонтанка, 7).

Приезжаю в редакцию «Руси», натыкаюсь на такую сцену: Суворин настаивает, чтобы Стахович сказал ему, когда начинается съезд. Стахович отвечает, что связан словом. Тогда я называю день и место.

Стахович пришел в ужас.

— Откуда вы узнали?

— Я только что был у гадалки.

Это было 4 ноября.

Стахович торопливо одел пальто и скоро уехал.

Я понял, что поторопился, что не должен был говорить об этом при Стаховиче. И тут же мне пришла в голову мысль, что могут переменить место. Ибо за те дни, что я следил за ними, я ознакомился с паническим опасением земцев нарушить слово, данное министру.

Передо мной стал вопрос, как дать знать публике о начале съезда.

Пришлось прибегнуть к следующей хитрости. В газетах обычно на последней странице мелким шрифтом сообщались сведения о выбывших и прибывших.

И вот в день 6 ноября не на последней, а на 2-ой странице, и не мелким шрифтом, а корпусом, в «Руси» помещено было сообщение, что к 6 ноября в столицу прибыли такие-то и такие, имя, отчество, с указанием, в какой земской управе состоит, и полным адресом. Съехалось 104 человека и заметка заняла более двух столбцов.

Публика поняла.

Как я думал, так и случилось. Место первого заседания было изменено. Причем не всем был

дан адрес. Многим, заподозренным, повидимому, в болтливости было сказано, что место будет определено в день заседания за несколько часов и чтобы все ждали дома оповещения.

Мне только этого и надо было. Весь день 6 ноября с утра я провел в гост. «Париж». Под вечер дано было знать земцам, что заседание назначено на квартире Ив. Ассикритовича Корсакова (Фонтанка, 52). Причем, так как это место сравнительно малолюдное, то земцам отдано было распоряжение не «создавать больших групп» и подходить по 2—3 человека за долго до назначенного часа.

Я бросил «Париж» и занял наблюдательный пост на углу Графского и Фонтанки.

Часа за два до заседания стали подходить земцы.

Памятуя наказ, они старались не «толпиться» у Чернытева и Аничкина мостов, у Графского, у Щербакова — подходившие оглядывали набережную. Если подходивших было мало, они быстро направлялись в подъезд. Если было оживленно — они пережидали на улице.

Я вошел в подъезд и вместе с депутатами проник в залу заседания.

Первыми меня увидели Стахович и Килевейн.

Стахович стал меня прямо умолять, чтобы я оставил помещение. Я ответил, что добровольно не уйду.

Уговоры не помогли. Меня спрятали за занавеску позади трибуны. Там же оказался спрятанным какой-то студент, — кажется, сын Д. Н. Шипова.

Второе заседание было на квартире Брянчанинова на Кирочной.

Здесь я с половины заседания ушел. У меня была спешная работа, а «доклады с мест» по-

вторяли ранее сказанное другими. Стало скучно. На 3-ье заседание на квартире Набокова (Морская, 47) я уже не пошел.

Третьим заседанием съезд официально закончился. Затем было назначено неофициальное, 4-е, так сказать, прощальное заседание опять на квартире Корсакова. Здесь членам съезда раздавали по печатному экземпляру постановлений, в которых было выставлено требование о перемене строя на конституционных началах.

Рукописный текст этих постановлений был у меня на руках; но мне хотелось иметь печатный экземпляр.

Я обратился к И. И. Петрункевичу, ведавшему раздачей, с просьбой дать мне экземпляр. Петрункевич отказал, мотивируя тем, что отпечатано только 104 экз. по числу членов съезда. Напрасно я указал, что часть членов съезда разъехалась, увезя постановления в рукописном виде, и что у него стало быть останутся экземпляры.

Упорный отказ Петрункевича показался мне подозрительным. Я решил, во чтобы то ни стало, получить экземпляр.

Вскоре началась раздача по перекличке.

У круглого стола стоял Петрункевич, а вокруг сгрудились члены Съезда.

Петрункевич вызывал по фамилии. Вызванный протягивал руку и получал.

Я заметил, что в соседней комнате несколько депутатов мирно беседовали, рассчитывая, повидимому, потом получить свои экземпляры.

Когда был вызван один из этих не бывших у стола, я протянул руку и получил.

И тогда я понял отказ Петрункевича. Под текстом постановлений, требовавших конституцию, мелким шрифтом была напечатана «фирма»:

«Типография отдельного корпуса жандармов, Спасская, 17».

Оказалось, что Святополк-Мирский, доверяя русскому народу, не доверял земцам. Он не разрешил им печатать свои постановления, опасаясь, что их напечатают в большом количестве, а сам напечатал в своей типографии в количестве 104 экземпляров.

Когда кончилась раздача, я подошел к Петрункевичу и сказал, что у меня имеется экземпляр и рассказал, как я получил его.

Петрункевич рассердился и заявил:

— Это недопустимый прием.

В ответ на это я сказал:

— Вы исполнили свое обещание перед министром. Я исполнил долг журналиста.

ПЕЧАТЬ ПРИ ПЛЕВЕ.

Положение печати при Плеве и его предшественниках было весьма тяжелое и своеобразное. Газетам воспрещалось касаться вопросов политики и критиковать действия властей. Считаясь, однако, с общественным мнением Европы, власть допускала, — вернее терпела, — несколько газет, которым разрешалась в известных пределах критика. К таким органам относились «Русские Ведомости» и «Новости». Газеты с «направлением» были поставлены в особые условия. Прежде всего, дабы сделать их недоступными, цена на них была назначена правительством не ниже 12 р. в год и 5 k. в розницу. Сколько Нотович (владелец «Новостей») ни хлопотал о разрешении понизить цену — его газета стоила 18 р. в год — ему не разрешали.

Часто власти «рекомендовали», вернее, назначали, редакторов, роль которых сводилась k наблюдению за тем, чтобы газеты не увлекались оппозиционным духом. Наряду с назначенным редактором был свой фактический руководитель газеты, представлявший все мало-мальски «сомнительное» на просмотр назначенному.

Предварительная цензура была отменена, но предварительный цензор существовал. Этот предварительный цензор читал первым готовую газету

(для чего брали первые номера с машины) и нередко накладывал арест до выхода газеты.

После долгих хлопот «Биржевым Ведомостям» и «Новостям» были разрешены вторые издания газет под тем же наименованием, но по дешевой цене. Но при этом было указано, что за малейшую попытку «либералить» газета будет закрыта. Вторым изданиям ставилось в обязанность развивать благонадежность, восхвалять начальство.

Установились две точки зрения: что в первом большом издании дозволено, то во втором — недопустимо.

Поэтому второе издание прятали от столичных жителей — подписка на второе издание от них не принималась.

Настроение в провинции было, пожалуй, еще более повышенным, чем в столице. А потому необходимо было, наряду с благонадежностью, проявлять «либерализм». Эту трудную миссию с большим успехом выполняли в »Биржевых Ведомостях» И. Ясинский и Далин.

Маленькие фактики из жизни провинции раздувались и служили темой для громовых статей. Объектом служили низшие чины администрации, иногда доходили до станового, конечно, тогда, когда вина последнего была признана официальными властями и виновник понес наказание.

Тогда разражались громовыми статьями на тему о притеснителях русского темного народа и обязанности помочь ему выйти из тьмы и невежества. Статьи обычно уснащались излюбленными выражениями, вроде «мороз по коже», «волосы дыбом», «ужас холодит сердце», и неизменно кончались призывом помочь «младшему брату» — мужичку.

В провинции эти призывы имели большой успех. Настроение и воображение дополняло в умах то, чего в статьях на деле не было. Провинция слала тысячами письма, из коих видно было, что эти писатели представляются там в виде истинных борцов за правду, гордых революционеров, презирающих власть и затаивших свою иенависть до удобного случая.

А в редакциях гордые и презирающие власть «народные трибуны» распластывались перед властью, и униженно публично извинялись перед приставом за то, что напечатали, будто убийство произошло в его участке, когда эгио на самом деле имело место в соседнем участке.

Толстые журналы иногда позволяли себе в своих провинциальных отделах затрагивать больные стороны жизни.

Власть к этому относилась снисходительно, так как эти журналы и по цене и по содержанию не имели широкого распространения, читались интелигенцией, которая и без того была «развращена». Пользуясь этим, «Вестник Европы» позволил себе однажды поднять перо против самого губернатора Воронежской губернии Дембовецкого, который распорядился наказать розгами какого-то гражданина.

Розги по закону были отменены, тем более по отношению к так называемым «привилегированным», к каковой группе принадлежал наказанный.

Какой-то юрист взялся подать жалобу на иеправильные действия губернатора. Он направился в канцелярию губернатора с просьбой выдать копию постановления и акта экзекуции. Адвоката провели к губернатору. Принял адвоката губернатор очень любезно. Выслушав его, он написал письмо к полицмейстеру, который

выполнил «акт», и предложил адвокату лично отнести последнему это письмо.

Когда адвокат принес полицмейстеру письмо, его разложили и всыпали ровно столько, сколько получил его клиент. По окончании экзекуции полицмейстер галантно заявил:

— Вы получили самую точную копию.

Адвокат подал жалобу. «Вестник Европы» описал всю эту историю. Дембовецкого отставили, а вскоре назначили сенатором, в каком звании он оставался до смерти.

Тяжело было положение либеральных публицистов. Тогда наиболее популярными были фельетонисты: Соломин (Стечкин), Печорин (Сафонов), Мечтатель (Трозинер) и Старцев. Они работали преимущественно в «Новостях», а Трозинер, кроме того, еще в «либераливших» полуказенных «Петербургских Ведомостях» князя Ухтомского, поддерживаемых правительством: в этой газете должны были печататься обязательные объявления.

Писать было тяжело. Надо было изощряться в эзоповском языке. Они считались либералами и это обязывало их. Платили им гроши и при том крайне неаккуратно. Несколько облегчалось положение тем, что они пользовались кредитом в своих «присяжных» кабачках: на Фонарном переулке, на Казанской и на углу Вознесенского и Екатерининского канала. Последний был особенно излюбленным местом названных публицистов; сюда привлекал чувствительно настроенных литераторов слепой музыкант — тапер, игравший на рояле, единственном в учреждении музыкальном инструменте.

Несколько улучшалось положение фельетонистов к осени. В сентябре, перед началом подписки, издатель «Бирж. Ведомостей» Проппер приглашал в газету всех популярных фельетонистов. Им

сейчас же выдавались авансы, платился повышенный построчный гонорар; их охотно и часто печатали. В декабре их постепенно выживали. Подписку собрали: Мавр сделал свое дело; тем более что большинство подписчиков были годичные, так как годичным на более льготных условиях давались многочисленные приложения.

Исподволь гастролеров переставали печатать.

Это повторялось из году в год. Фельетонисты считались с этим, как с нормальным явлением, и строили свой бюджет на осени. Дома они все жили в постоянной нужде и кончали жизнь печально. Печорин умер в одиночестве. О его смерти узнали случайно. К нему пришел в гости журналист Гакебуш (впоследствии редактор «Биржевых Ведомостей», а потом «Русской Воли», переменивший во время войны свою фамилию на «Горелов») и нашел его бездыханный труп. Около Печорина находились лишь спутники его последних лет — голубь, курица и черепаха, которых он до того приучил к спиртным напиткам, поливая водкой их еду, что они неохотно принимали пищу, не сдобренную алкоголем.

Мечтатель умер в полной нищете в Максимилиановской лечебнице.

В нищете же умер Соломин, оставив семью без всяких средств.

Критику правительства тогда позволяло себе «Новое Время». Оно позволяло себе критиковать тех правящих лиц, которые, по сведениям газеты, были «на отлете» в виду опалы. Тогда «всыпали» по первое число. Случалось, что положение опального менялось в смысле упрочения данного лица. Тогда, нисколько не смущаясь, «Новое Время», захлебываясь, хвалило того, кого вчера жестоко ругало.

Единственная в это время в Петербурге либеральная газета «Новости» умирала. Чахлый либерализм редактора Нотовича все меньше соответствовал ушедшим вперед требованиям. А Нотович продолжал, вопреки требованиям современности, вести газету в духе старого «Голоса», преемником которого были «Новости». Об упорство Нотовича разбивалась вся энергия деятельных руководителей «Новостей» Городецкого, Катловкера и Когана. Газета умирала на глазах всех. Нотович гордился тем, что он тридцать пять лет состоит редактором, упорно не понимая, что это и было его главным минусом.

При рождении наследника «Новости» чуть было не закрыли. В большой статье, приветствовавшей появление наследника, родительницей была названа не Александра Федоровна, а старая царица Мария Федоровна. Получился скандал.

К слову надо отметить, что вообще последней царской чете везло на опечатках. В отчете о коронации Николая II в «Новом Времени» в том месте, где говорилось, что на голову царя была возложена корона, вместо слова корона было напечатано — ворона.

Возращаясь к «Новостям»,—вспоминаю анекдотический случай. В редакцию пришел какой-то приезжий еврей, которого высылали раньше положенного срока. Городецкий, любивший пошутить, предложил ему подписаться на «Новости»: если он покажет квитанцию — полиция его не тронет. Спустя некоторое время, в редакции получилось письмо от названного еврея, в котором тот сообщал, что его уже давно выслали, а вот газету ему до сих пор не высылают.

Как ни тяжелы были материальные условия работы в «Новостях», фельетонисты все же охотнее работали там.

Атмосфера в «Биржевых Ведомостях» была исключительно тяжелая.

Проппер, выскочивший из биржевых маклеров в издатели большой газеты, купленной им, когда она была в чахлом состоянии, за восемьсот рублей, стал мнить себя литератором. Сам он писать не умел. Все знали, что он подписывается под чужими статьями.

Тщеславие его не имело границ. Счастливейшим днем его жизни был день, когда он получил чин коммерции советника. А. А. Столыпин (брат премьера) уверял, что Проппер за границей заказал специальные пуговицы для брюк и кальсон. На этих пуговицах было отштамповано звание коммерции советника и фамилия Проппера.

Нотовича литераторы, сидя, в кабачке поругивали, но без злости, Проппера ненавидели. Печорин, когда напивался, отправлялся в редакцию ругать Проппера, и когда он появлялся в таком виде Проппер запирался в своем кабинете на ключ, а Печорин поносил его на всю редакцию.

Раз или два в год Проппер приглашал сотрудников на ужин. Сотрудников тогда долго выдерживали в гостиной дворца Полякова, приобретенного Проппером. Здесь висели портреты каких-то военных, которых выдавали за предков Проппера, хотя все знали, что Проппер австрийский еврей. Попавший как-то на один из этих ужинов артист Далматов уверял, что на этих портретах раньше были обыкновенные физиономии евреев, а после смерти, по распоряжению Проппера, пририсованы были военные атрибуты. При жизни их, пояснял Далматов, Проппер не посмел бы этого делать, так как его предки боялись оружия.

Ужин начинался неизменно с рассказа Проппера о том, как он удачно сострил.

Один из его знакомых, по его словам, спросил его, где он берет сигары. На это Проппер ответил, что он сигары не берет, а покупает, а вот вы — сказал он своему собеседнику — берете их из моего ящика.

Эта острота повторялась из года в год и была неизменной за ужином. Все ее знали наизусть, слышали это от Проппера не раз, и даже новички, попавшие в первый раз на ужин к Противнику заранее знали, что с этой остроты начнется трапеза.

После рассказа о своей находчивости Проппер торжествующе обводил глазами «свою армию», как он выражался, и все удивлялись остроумию и находчивости Проппера и долго смеялись.

Передавали такой случай: один из сотрудников, выслушав рассказ о находчивости Проппера, не смеялся и равнодушно оглядывал своих, симулировавших смех коллег. Когда сосед его спросил, почему он не смеется, он ответил:

— Я перехожу в «Петербургскую Газету» и буду там смеяться.

Снедаемый тщеславием Проппер решил интервьюировать высоких особ. С этой целью он объезжал балканские страны вместе с известным в то время талантливым журналистом Дарием Викентьевичем Багницким, знавшим всю Европу. Багницкий вместе с Проппером ходил по министрам. Они даже проникли к какому-то князю — не то черногорскому, не то болгарскому.

Принимали их очень охотно, так как большинство балканских государств получали из России субсидию, а Проппера и Багницкого они принимали за лиц, имеющих влияние в России.

Беседовал и составлял беседы Багницкий, так как Проппер был слаб в иностранных языках. Подписывался же под статьями Проппер.

В так называемой «желтой прессе»—«Петербургской Газете» и «Пет. Листке» — политика заменялась уголовными и пикантными романами, печатавшимися с продолжением, обрываемым каждый день «на самом интересном месте».

Особенными специалистами по этой части были в «Пет. Газете» Гейнце и в «Листке» княгиня Бебутова. Иногда они растягивали романы до того, что редакторам приходилось кончать их насильственно.

Так, когда, несмотря на предложение Худекова, редактора «Пет. Газ.», кончить роман «Нана», Гейнце продолжал тянуть его,—Худеков сам решил закончить его. Он заставил любимого жеребца героини ударить ее копытом в висок. Умерла героиня и кончился роман.

А кн. Мещерский в «Гражданине», дабы покончить с романом Назарьевой, под одной из глав, кончавшейся прогулкой героев на лодке, постановил резолюцию: «продолжения не будет, так как герои утонули».

Информационная часть газет представляла тогда особый мир. Информация ограничивалась преимущественно происшествиями, т. е. кражами, убийствами, пожарами. Много места уделялось всяким открытиям богаделен, больниц, учреждений правительственных и общественного характера, актам гимназий и т. п. В больших газетах, вроде «Русских Ведомостей», «Новостей», наряду с происшествиями печатались длинные и скучные отчеты о заседаниях ученых обществ, собраний. Излюбленной темой было Юридическое общество, в котором обсуждались часто вопросы, связанные с несовершенством законов. Здесь явно усматривался элемент оппозиции и посему этому обществу уделялось особое внимание.

В «Петербургской Газете», «Петербургском Листке» этим заметкам уделялось вскользь несколько строк, причем заметке придавался характер «общедоступности». В этих целях самый предмет, осбуждавшийся на собрании, отодвигался на задний план, и хроникер, большею частью недостаточно грамотный, писал всякий вздор.

Вспоминаю один из многочисленных курьезов. Хроникеру «Пет. Газеты» Б. было поручено дать отчет о заседании О-ва художников, происходившем в здании Академии Художеств.

Б. пришел в градусах и попал на происходившее в том же здании, но в другом зале, заседание общества архитекторов.

На другой день в «Пет. Газете» появилась заметка, озаглавленная «В обществе художников».

В заметке говорилось: «ожидались художники, а пришли архитекторы; почему — неизвестно. Говорили о постройках».

В «Биржевых Ведомостях», являвшихся своего рода alma mater для всех журналистов — ибо трудно было найти тогда журналиста, не работавшего в «Биржевке», — хроника на 9/10 состояла из происшественников, возглавлявшихся бывшим околоточным надзирателем Н. В. Гемпелем. Это был яркий представитель хроникеров того времени. Добродушный и откровенный Гемпель не без юмора рассказывал о своих похождениях, считая это в порядке вещей. Он систематически делал обход крупных магазинов съестных продуктов, получал всюду кульки, и после обхода приглашал коллег на «закусочку».

— Селедочки анчоусные от Дурнякина получил. Красота.

Буквально захлебываясь, он передавал о своей изобретательности на открытии богадельни име-

ни купца Лескова. Для журналистов были отведены особые места на торжественной трапезе по поводу открытия, при чем в свернутые салфетки были положены деньги — аванс за будущий хвалебный отчет.

Гемпель узнал, что сотруднику «Нов. Врем.» положили в салфетку 75 р., а сотруднику «Бирж. Вед.» всего 50. Гемпель сел на место, предназначенное для «Нов. Вр.». Распорядитель указал ему на место, предназначенное для «Биржевых Ведомостей». Он, не споря, пересел, но захватил с собой салфетку.

Сотруднику «Нов. Вр.» пришлось дать другие деньги, а Гемпель получил и свои, и нововременские — т. е. всего 125 р. и по этому поводу устроил обильное угощение.

Угрожая «раскатать», — Гемпель брал везде и всюду деньгами, натурой.

Циркулировал про него анекдот. В пивной, на углу Вознесенского и Екатерининского канала — неподалеку от тогдашнего помещения редакции «Бирж. Вед.», Гемпель, выпив положенное количество пива, — подзывает официанта и, указывая на паутину на потолке, грозно спрашивает:

— Это что? Антисанитария?

— Николай Васильич, вы вчера изволили пить за эту паутинку-с.

— Врешь. Я пил вон за ту, которая в правом углу.

По субботам (гонорарный день) хроникеры производили подсчет за неделю прежде, чем пойти в контору за получкой.

Сидят и считают примерно так:

«Рана простая — 75 к., Драка с убийством — 2 р. 25 к., Рана с выпадением сальника — 1 р. 45 к., Обваренный кипятком — 45 к., Пожар — 5 р. 40 к., Изнасилование — 60, а всего столько то».

При этом жалоба: ну, и пожар, хоть бы одна человеческая жертва!

Пожары были одной из наиболее выгодных тем для репортеров. О них писались столбцы. Были спецы по пожарной части; уезжая на пожар, они заказывали известное количество места в газете. Были излюбленные и неизменные фразы. «Огненные языки лизали», «Густой дым затмил небо». «Атмосфера на далеком расстоянии была накалена». Один пожарный поэт ухитрился написать, что атмосфера была накалена «до красна». Это прошло в газете. И когда редактор на другой день стал упрекать его в безграмотности, он предложил опросить очевидцев, могущих удостоверить, что «атмосфера была красная».

Отчеты о пожарах кончались воспеванием храбрости пожарных, и в особенности, распорядительности брандмейстеров. Зато последние, выезжая на пожар, оповещали всех пожарных хроникеров и последние были спокойны, что не прозевают.

Прозевать какой-нибудь пожар, убийство, грабеж и т. п. считалось первородным грехом, грозившим карьере хроникера и заведующего.

По утрам заведующие хроникой с трепетом читали в первую очередь чужие газаты: нет ли там происшествия, о котором не знала своя газета. Хроникеры, вроде Гемпеля, имевшие знакомства с полицейскими и сыщиками, были в фаворе. Им многое прощалось, вплоть до безграмотности. В первоначальном виде заметки часто являлись классическими по безграмотности. Из многочисленных перлов вспоминаю фразу из описания какого-то пожара:

«Злой коняга укусил пожарного за палец, который побежал в участок для подания медицинской помощи».

Отношение редакторов к хроникерам было двойственное. С одной стороны их ценили больше, чем публицистов: последних можно заменить, а Гемпели для газеты незаменимы. В то же время, учитывая их моральный уровень, их отводили на задний план. В старом помещении «Бирж. Ведомостей» на Мещанской, д. 25, хроникеры занимали 2-й этаж, а редакция — 3-й. Однажды на дверях редакции появилась вывеска: «хроникерам вход в редакцию воспрещается». После скандала, вывеска была снята.

Мздоимство хроникеров было, конечно, хорошо известно редакциям. В газетах, вроде «Бирж. Ведомостей», считавших себя «большими» газетами, претендовавшими на «направление», редакторы делали вид, что не знают этого.

В «Петр. Листке» и «Газете» дело шло на откровенность. Там хроникеры делились с заведующими отделами. Главный доход был в отделах: информационном и театральном. Особенно прибыльны были для хроникеров увеселительные заведения, главным образом, летние. Здесь специально прикомандированный от редакции хроникер получал, кроме даровой, конечно, кормежки и возлияния — определенное жалование. Чем значительнее увеселительное заведение, тем больше платили.

И перед началом летнего сезона происходило распределение. Больше всего претендовали на Крестовский остров, Аркадию, Аквариум. Это были наиболее посещаемые публикой сады и здесь нажива была и от администрации, и от подвизавтихся артистов всякого рода.

И когда редактор назначал кому-нибудь Олимпию или Эдем — т.е. малодоходные, происходил торг. Приводились всякие соображения вплоть до домашних.

— У одного жена родила, другому надо жену послать лечиться и т. д.

Все это принималось во внимание при распределении.

Поборы с садов этим не ограничивались.

Часто на сады делали налеты «генералы» газетные, в лице заведующих отделами, крупных театральных критиков.

В таких случаях администрация сада получала предупреждение от постоянного сотрудника обслуживающего данный сад.

«Генерал» приезжал с знакомыми. Им отводили отдельный кабинет, давали отличный ужин, представляли главных артистов.

При уходе заведующий отводил генерала в сторону и по установленному ритуалу происходил такой «разговор»:

— Вы обронили 100 руб.

— Неправда, я обронил 300 р.

После краткого спора оказывалось, что обронено было 200.

А на другой день восторженное описание сада, программы, буфета.

Рекорд в области мздоимства побил сотрудник «Нового Времени» известный балетоман он же директор горного департамента действ. ст. сов. Скальковский.

Близкие отношения к балетным дивам, значительная часть которых состояли на положении неофициальных особ царствовавшего дома — с одной стороны, положение сотрудника «Нового Времени» с другой стороны делали его неуязвимым. Сознавая это, Скальковский развил свое взяточничество до невероятных размеров, как в области сумм, так и в области развязности.

Все имевшие дела в горном департаменте знали, что Скальковскому полагается уплатить, иначе дело не пройдет.

Скальковский сам почти-что рекламировал свое мздоимство.

Однажды группа нефтяников обратилась к нему с ходатайством об отводе нефтянного участка, причем уполномоченый группой нефтепромышленик Иванов заявил, что в случае удовлетворения ходатайства они дадут 20 тыс. и никому не скажут.

Скальковский ответил.

— Дайте 40 и говорите всем.

В тесной компании сотрудников во время кутежей Скальковский не без юмора рассказывал об этом эпизоде, говорил, что «эти дураки» дорого ценили свое молчание.

Очень много места уделялось французской борьбе. Интерес к этому спорту подогревался цветистыми описаниями борьбы. В этой области роль премьера неизменно занимал Н. Брешко-Брешковский.

Будучи одновременно художественным критиком, он писал рецензии о борьбе в высоком стиле, обильно уснащая свои рецензии художественными терминами, мифологическими именами и т. п. Эпитеты: шоколадный, серебряный, золотистый, сын степей, пещерный житель и т. п. переплетались в рецензиях с мифологией.

Расхваливаемые борцы—часто простые, иногда неграмотные, не всегда оценивали усердие своего певца.

Один из них обиделся па сравнение с каким-то богом и, приняв это за оскорбление, набросился на Брешко-Брешковского, которому пришлось озна-

комиться с «божественными бицепсами». Борца с трудом успокоили. Указания его коллег на то, что его хвалили в рецензии, не убедили обиженного, твердившего:

— Пусть хвалит по-русски. А то узнают в деревне, — засмеют.

ПЕРЕЛОМ.

Террористические акты и все возраставшие неудачи на войне одновременно усиливали растерянность бюрократии и повышали оппозиционное настроение в стране. В собраниях представителей своих земства и города стали выносить резолюции с требованием реформ. Еще более определенно и резко в своих резолюциях высказывались съезды различных специалистов. В стране заметно совершался перелом.

Плеве отдал распоряжение, воспрещающее печатание резолюций съездов, но остановить поток этих резолюций оказался не в силах.

И еще при жизни Плеве общественный перелом ознаменовался переломом в печати. Выполняя распоряжение о запрете, газеты не сообщали «крамольных» резолюций, но в статьях своих начали смелеть и говорить от себя о необходимых реформах.

Перелом ознаменовался, между прочим, появлением газеты «Русь».

Сын Суворина Алексей, фактический редактор «Нового Времени» — журналист с большим газетным нюхом, учел момент и стал настаивать перед отцом на перемене фронта. Перемена фронта для старика Суворина не была новым явлением. Свою журнальную деятельность старик Су-

ворин начал под псевдонимом «Незнакомец», писал крайне-левые по тому времени статьи. Приобретя совместно с бывшим городским головой Лихачевым газету, он очень быстро освободился от своей левизны и в короткое время занял со своим «Новым Временем» определенную позицию. На вторичную перемену фронта он, однако, не согласился. Тогда сын с отцом поссорились, и старик выдал сыну большую сумму денег, на которую тот и основал газету. С собою сын забрал из «Нового Времени» нескольких видных сотрудников. Вчерашние черносотенцы и ретрограды стали ультра-либералами и в смысле левизны побили рекорд. Но не все сотрудники Суворина отказались от старых приемов в смысле использования положения газеты для своих личных целей. Возникла какая-то странная история с банками. То, что прощалось желтым газетам, не прощалось прогрессивным. Газета «Русь» потеряла доверие в прогрессивных кругах. В правых кругах она и прежде не имела его. Она стала чахнуть и в конце концов погибла.

Заметнее всего сказался перелом на информационной части печати. В этом отделе стали уделять очень много места отчетам о собраниях, о съездах и в то же время начала прививаться в газетах система информирования путем бесед с общественными деятелями. В короткое время в это интервью были вовлечены чиновники, занимающие значительные посты, а вскоре и министры.

Первая моя беседа с сановником имела место в «Биржевых Ведомостях». Это была беседа с попечителем Петербургского учебного округа Харлампием Головиным. Последний издал циркуляр, воспрещавший учащимся средних учебных заве-

дений, посещать театры. Я пошел к Головину с целью побеседовать на эту тему. Появление журналиста на приеме у попечителя произвело переполох. Чиновник, с недоумением прочитав мою визитную карточку, понес ее к «его превосходительству» и, вернувшись спросил, что мне угодно.

Я ответил, что командирован редакцией к попечителю непосредственно, по важному вопросу, вызвавшему серьезные волнения.

Это подействовало.

Я был принят вне очереди.

Головин произвел на меня впечатление полурамолизованного сановника. По выражению лица можно было определить, что мое появление произвело некоторое смятение в его «превосходительной душе».

Я сразу взял серьезный тон. Я заявил, что циркуляр вызывает большое недовольство, что это легко может вылиться в едва ли желательное волнение, подобно волнениям среди учащихся высших учебных заведений.

Головин не на шутку взволновался. Ему повидимому уже начала мерещиться гимназическая забастовка. Он стал пояснять мне причины, вызвавшие циркуляр, и обнаружил готовность изложить эти причины в новом циркуляре.

Я указал, что циркуляр едва ли здесь уместен и что лучше сделать это в виде беседы. Он призадумался. Очевидно в его душе происходило колебание, и, наконец, он принял «героическое» решение, но оговорил, чтобы я показал ему написанное мною, прежде чем оно появится в печати. Беседа появилась. Вскоре и самый запретительный циркуляр был отменен. По тем временам это произвело большое впечатление.

Между тем земские собрания все более настойчиво требовали привлечения земств к участию в государственных делах.

Я решил обратиться к товарищу министра внутренних дел Н. А. Зиновьеву. Зиновьев был правой рукой Плеве; в своей реакционности он, пожалуй, превосходил самого Плеве и едва ли не побил рекорд известного своей реакционностью Стишинского (впоследствии министра земледелия в первом кабинете Горемыкина). Про Зиновьева острили, что из всех Стишинских Зиновьев самый яркий Плеве.

Незадолго до этого Зиновьев производил ревизию некоторых земств и составил доклад об этой ревизии. Об этом докладе член государственного совета Таганцев сказал:

— Лучших доносов не писали в худшие времена.

Очевидно общее настроение растерянности сказалось и на Зиновьеве. И когда я сообщил ему, что имею намерение побеседовать о земствах и их роли, он без споров согласился и даже высказался в том смысле, что он не враг земства, но сторонник порядка.

То обстоятельство, что Зиновьев согласился на интервью и высказался в «примирительном» тоне, несомненно было знаменательным показателем. Учитывая настроение, я решил «развратить» министров — как выразился впоследствии про мои интервью Суворин.

Я пошел по линии наименьшего сопротивления и избрал первым объектом Хилкова. Он считался либералом и к тому времени был достаточно рамолизован. Не без труда удалось проникнуть к нему. Когда я после довольно длинной беседы сообщил, что имею намерение напечатать мой разговор с ним, он растерялся и сказал, что должен подумать.

Повидимому подумать он позабыл, и когда я на другой день заявился к нему, он воскликнул:

— Ах, вы насчет интервью.

Вообще к тому времени память у него несколько ослабела. Он заметно впал в старчество и любил много говорить о пустых предметах.

Интервью состоялось и было напечатано в «Новостях».

Тема была, правда, вне политики, разговор шел о строившихся тогда в Сибири дорогах и лишь вскользь затрагивался вопрос о положении дел в стране, но факт, что министр беседовал с журналистом, произвел впечатление.

За Хилковым последовал министр земледелия А. С. Ермолов. Ермолов считался уже не либералом, а прямо левым. Такую свою репутацию он заслужил после скандала ь подведомственном ему лесном институте. Во время своего посещения института он держал речь перед студентами. Когда он упомянул имя государя, часть студентов начала свистать. Ермолов прервал свою речь и уехал. Об этом происшествии он не дал знать Плеве. Но Плеве узнал. Возможно, что Ермолов за это слетел бы, но тогда растерянность бюрократии была в расцвете, а вскоре Плеве был убит.

Когда либеральная часть бюрократии укрепилась, Ермолов стал почти ее лидером.

Ермолов больше интересовался едой и литературой, чем своим ведомством. Он много писал не только по специальным вопросам, но и стихи, и детские сказки. На приемах в министерстве всегда имел полусонный вид очень сытого человека, занимающегося по необходимости неприятным ему делом.

Одна из бесед с Ермоловым была напечатана в «Биржевых Ведомостях», причем Проппер, пре-

клонявшийся перед титулами, распорядился перед беседой крупным шрифтом напечатать: «наш сотрудник имел счастье беседовать».

Впрочем чинопочитание было в натуре редакторов и прогрессивных газет. Так например редактор газеты «Речь», Гессен, всегда высказывал свое изумление по поводу того, что я, беседуя с сановниками по телефону, иногда в его присутствии, называл их по имени-отчеству, а не величал их титулами.

После Ермолова последовал министр народного просвещения В. Г. Глазов.

Генерал. начальник военной академии—Глазов—неожиданно для всех и в том числе и самого себя был назначен министром народного просвещения. Он провел всю жизнь в военных сферах и был окончательно вне всякой политики. Он был одинаково чужд реакционности и либерализма. Попав в министры в момент перелома, он окончательно растерялся. В вопросах внутренней политики он, как сам выражался с чисто военной резкостью, «ни чорта не понимал», а когда бывал в духе, он второе слово заменял менее цензурным, но более сочным выражением.

После первой беседы он вошел во вкус и охотно беседовал с журналистами на любые темы. В «Петербургской Газете» однажды появилась беседа с Глазовым на тему о балете. Это была едва ли не самая основательная его беседа, ибо в этом деле он обнаружил гораздо больше понимания, чем в вопросах народного просвещения и внутренней политики.

В комитете министров он был буквально беспомощен. Насколько он был далек от политики можно судить по следующему эпизоду.

В комитете министров обсуждался вопрос о разрешении в губерниях царства Польского

преподавать в учебных заведениях на польском языке.

Это был один из боевых вопросов внутренней политики, всегда шедшей по пути твердого русифицирования края. Но Глазов не знал всего этого. И когда я к нему заехал после заседания, он даже обрадовался.

— Вот вы человек фартовый—наверно знаете, в чем дело. Сегодня мы четыре часа спорили, можно ли полякам учиться на польском языке. Не понимаю! Польский так польский, рыбий так рыбий. Чорт их подери. Пусть только учатся.

Наибольшее впечатление произвело интервью с Святополк-Мирским. Вскоре после своего назначения Святополк-Мирский имел беседу с французским журналистом Гастоном Леру, которому он и заявил, что, вопреки своим предшественникам он намерен править страной на основе доверия к русскому народу. Журналисты всполошились и решили проинтервьюировать министра по примеру своего французского коллеги. Сами редакторы, как напр., Суворин-отец, Проппер, и др. явились к нему на прием. Он их принял, очень внимательно поговорил с ними, но очевидно, что разрешения печатать свой разговор они даже и не просили. Вышли они умиленные и, м. б., не желая портить впечатления от этой умилительной беседы, они не заговорили о печатании.

Узнав, что Святополк-Мирский ввиду болезненного состояния рано ложится и рано же встает — я отправился к нему в восемь часов утра. Я послал свою карточку. Меня просили обождать. Я прождал около двух часов, в это время начался официальный прием. Народу набралось много. Я не пожелал беседовать во время общего приема и ушел.

На другой день явился опять в восемь часов утра. Дежурным в тот день у Святополк-Мирского был граф Тотлебен. Карточку мою передал чиновник Потулов.

Вскоре после посылки моей карточки вышел граф Тотлебен и спросил от имени министра, что мне угодно.

Я ответил, что мне угодно узнать, имеет ли русский журналист доступ к министру, как это имел французский журналист. Тотлебен пошел к министру и, вернувшись, предложил мне подождать.

Через короткое время я вошел в кабинет и увидел в кресле человека пожилого с болезненным лицом с мягким болезненным же выражением. Я сразу понял, что здесь нужно действовать натиском. Я начал с заявления о том, что Россия давно страдает болезненной приверженностью ко всему заграничному. Этим однако страдает не только обыватель, но и представители высшей власти.

Святополк-Мирский удивленно спросил, к чему это я сказал и что я под этим подразумеваю.

Я ответил ему, что вряд ли французскому журналисту пришлось потратить столько усилий, чтобы добиться доступа к русскому министру, как это пришлось сделать мне.

Он слегка растерялся, стал объяснять, что у него очень много работы, что предстоящие задачи очень сложны. Потом мы с ним разговорились, я стал задавать ряд вопросов. По окончании беседы я выразил уверенность в том, что он ничего не будет иметь против того, чтобы я это напечатал. Здесь Святополк-Мирский окончательно растерялся и стал говорить на тему о том, что он министр внутренних дел—начальник

печати и что это для него совершенно новая форма и т. п.

Я возразил ему, что раз он затронул столь существенный вопрос, как доверие, то он должен считаться и с последствиями этого.

Я указал при этом, что на западе народ выражает доверие правительству и это считается обычным явлением, а у нас правительсто в его лице выразило доверие народу и это вызвало всеобщее ликование. Отсюда видно, что тема слишком острая.

— Как-же, — спросил я его, — вы намерены говорить с народом о доверии? неужели путем циркуляров, облеченных в форму установленного образца?

Министр на это возразил, что пожалуй я и прав, но ведь он за каждое свое слово будет отвечать и это его смущает.

Я его успокоил тем, что до напечатания я ему представлю текст того, что я напишу, и что он может исправить все, что ему захочется. Тогда он согласился.

Три раза в этот день я носил ему корректуру и каждый раз он делал все новые сокращения. В последний раз я принес ему корректуру около одиннадцати часов вечера. Святополк-Мирский был уже в кровати. Чиновник Потулов вынес мне беседу в окончательно прокорректированном виде и сказал, что министр в этом виде разрешает печатать. Я тогда попросил чиновника, чтобы он предложил Святополк-Мирскому подписать, что он беседу эту читал. Через несколько минут Потулов вышел с улыбкой, но без подписи, заявив, что министр удивляется что мы весь день говорили о доверии, а я ему как будто бы не верю. Я объяснил ему, что это в его же собственных интересах, так как цензор, увидев в газете беседу,

вероятно будет справляться, не выдуманная ли она, а цензор читает газету в шесть часов утра. И если не будет его подписи, он может разбудить министра [1]). Тогда Святополк-Мирский подписал и даже припечатал перстнем, предварительно закопченным на свечке.

Эта беседа произвела переполох. Шутка ли сказать, не прошло двух месяцев после режима Плеве, и вдруг министр внутренних дел беседует о свободах с журналистом прогрессивной газеты. Беседа эта появилась в газете «Русь».

С этого момента начинается, продолжавшаяся правда не долго, своеобразная свобода печати. В либеральных газетах это сказалось прежде всего в том, что были окончательно отменены всякие титулы. Вместо «его величества», «его высокопревосходительства» появились простые термины государь, министр и т. п. Только «Петербургская Газета» и «Листок» и долгое время также «Биржевые Ведомости» продолжали по старому титуловать. В газетах стали появляться все более смелые статьи, а в скором времени состоялся земский съезд и одновременно вышла газета группы меньшевиков — интеллигентов во главе с Кусковой и Прокоповичем, основанная проф. Ходским, с нашумевшей статьей Булгакова. Печать окончательно осмелела и короткое время, продолжавшееся до закрытия первой государственной думы, так сказать, явочным порядком, пользовалась небывалой ни до, ни после этого свободой. В больших газетах происшествия хотя и печатались, но были отодвинуты на задний план. Информация стала политической.

[1]) Истинная причина была другая. Я никогда не помещал беседы без предварительного прочтения собеседника во избежание опровержений.

БУЛЫГИН.

После земского съезда, высказавшегося за реформу государственного строя, все стали ожидать этой грядущей реформы. Слухи все более крепли. Разговоры становились все более определенными, ожидали правительственного акта.

Наконец дождались и разочаровались.

12 декабря последовал царский указ, по которому на комитет министров, орган доселе почти бездействовавший, была возложена миссия разработки целого ряда реформ в стране. Таким образом все ожидания оказались напрасными: дело сводилось к бюрократической канцелярщине. Стали ждать, что из этого выйдет. Конечно, никого это не удовлетворяло. Настроение все больше стало нарастать. Комитет министров и сам вскоре понял бесцельность своих заседаний. Царь, приняв единственный раз председателя комитета министров С. Ю. Витте (тогда еще не графа), дальше уже делами комитета не интересовался и в течение долгого времени графа вновь не принимал.

Вскоре разразились события девятого января. Удачное, по мнению бюрократии, подавление волнения в этот день окрылило ее правую часть; реакция начала как будто приходить в себя. Генерал-губернатору Трепову были даны широкие полномочия. Звезда Мирского закатилась. Он

еще числился министром — но с ним не считались, и когда 13 января в «Правительственном Вестнике» было напечатано правительственное сообщение приглашавшее рабочих приняться за работу, то оно было подписано министром финансов Коковцевым и генералом Треповым. Фактическое смещение его задерживалось лишь потому, что не был решен вопрос о его преемнике. Кандидатом был выдвинут Штюрмер, яркий правый, один из сподвижников Плеве. Штюрмер был вызван в Царское село и приехал оттуда уже министром. Я имел с ним беседу. В беседе этот яркий реакционер высказался в прогрессивном духе и говорил о готовности считаться с земскими представителями. Беседа эта была уже заверстана в полосу газеты «Русь». Около двух часов ночи Штюрмер меня вызвал по телефону и убедительно просил меня снять эту беседу. Я снял. На другое утро, заехав к Штюрмеру, я узнал, что его назначение отменено. Вместо него назначен был Булыгин.

Вообще для Штюрмера я был каким-то роковым человеком. Три раза я с ним имел интервью по поводу уже состоявшихся назначений и все три раза эти назначения проваливались.

В 1909 году, когда произошла история с морскими штатами, и Столыпин получил отставку, Штюрмер опять был вызван к царю и вернулся оттуда премьером. В газете «Речь» появилась пространная беседа моя со Штюрмером, причем, так как он до появления указа не хотел афишировать свое назначение, то в начале интервью было сказано, что это беседа с лицом, которое на днях займет пост Столыпина. Ни для кого не было секретом, что речь идет о Штюрмере, и на другой день газеты, перепечатавшие это

интервью, расшифровали и называли его уже прямо Штюрмера.

Через день царь передумал. Премьером был назначен Коковцев. Это решение было настолько уже окончательно, что в эстампном магазине Дациаро был выставлен портрет Коковцева с аншлагом «Новый председатель министров». Два дня Коковцев вел себя как премьер, а на третий день царь решил оставить Столыпина и вернул ему его отставку. Это ознаменовалось небывалым бюрократическим скандалом: наиболее горячие противники Столыпина члены Гос. Сов. — П. Н. Дурново и В. Ф. Трепов получили заграничный отпуск.

Уже во время войны Штюрмер получил еще одно назначение. Московским городским головой был избран Катуар. Ввиду его левизны царь не утвердил этого избрания и своей властью назначил городским головой Б. В, Штюрмера. Назначение это было уже подписано. Штюрмер уложил свои вещи, чтоб ехать в Москву. Он был очень доволен.

У меня в кармане уже была беседа со Штюрмером, в которой последний высказывался в том смысле, что он постарается ладить с городскими деятелями. Не помню по каким соображениям, Штюрмер просил отложить печатание этой беседы на один день. На другой день стало известно, что это назначение отменено. Выяснилось потом, что председатель государственного совета Акимов поехал к царю и потребовал отмены этого назначения, мотивируя тем, что городской голова по должности подчинен министру внутренних дел, а между тем Штюрмер,—назначенный член государственного совета и, как таковой, может быть подчинен только государю. Царь согласился.

Назначенный преемником Святополк-Мирскому Булыгин, человек совершенно бесцветный, без-

властный и безвольный, неохотно принял пост. Барон Икскуль, государственный секретарь, весьма картинно рассказывал мне про обстоятельства, сопровождавшие назначение Булыгина.

Жена Булыгина категорически настаивала на том, чтобы он отказался от поста, опасаясь за его жизнь. Булыгин, получив предложение от царя занять пост министра, отказался, ссылаясь на то, что он не чувствует себя пригодным для этого важного поста. Царь ему сказал, что он лучше знает, кого ему надо, и дал ему час на то, чтобы обдумать и составить программу действий.

Булыгин бесцельно бродил по парку около часу и, придя к государю, сказал, что раз царь приказывает, то он принимает пост; что же касается программы, то он будет выполнять то, что государь ему велит. Это царю очень понравилось.

Хмурый и нерадостный вернулся Булыгин министром. Здесь жена, не взирая на присутствие нескольких гостей, устроила ему форменную сцену.

— Посмотри на себя, какой ты министр. Охота тебе подставлять башку!

Булыгин оправдывался тем, что он не хотел, но государь приказал.

Между тем, временно поднявшая голову правая часть бюрократии скоро опять растерялась. Настроение в стране все более повышалось. С фронта известия приходили все более неблагоприятные. Война позорно проигрывалась. В то же время стали широко распространяться слухи о необычайных злоупотреблениях на войне. Всюду говорили о том, что армия раздета и голодна. Как впоследствии выяснила сенаторская ревизия, солдатам жарили котлеты на касторовом масле. Уличенный в этом интендант Антонов оправдывался тем, что при жарении касторовое масло

теряет слабительные свойства. Стали носиться слухи о невероятных злоупотреблениях интендантов. Приезжавшие с войны рассказывали о знаменитых обмундировках, расползавшихся буквально в несколько дней, о гнилом сукне, о сапогах на бумажных подошвах. Стали известны феерические кутежи интендантов и всех заведующих хозяйственными частями. На фронте развилась невероятная картежная игра. Офицеры, стоявшие у хозяйственных дел, играли на золото. Тогда еще была созданная незадолго перед войной оставившим пост министра финансов Витте золотая валюта. Игра была крупная, ставили тысячами; считать было обременительно и золото ставили стаканами без счета в насыпку. Стало даже известно, что один из хитроумных военных спекулянтов нажил большое состояние, изготовляя специальные жестяные кружки для игры в карты. За эти кружки, красная цена которым была гривенник, бралось по 25 рублей. Лаж на бумажные деньги на фронте установился весьма высокий. Да оно и понятно: крали десятками тысяч, где же было таскать мешки с золотом! Обременительно, да к тому же реклама не кстати.

Бюрократия все более терялась и в происходивших под председательством царя в Петергофе заседаниях настаивала на реформах. В этих заседаниях обнаружилась левизна даже некоторых великих князей. Царь повидимому склонялся на либеральные реформы. Либеральствующая бюрократия подняла головы. Именинником чувствовал себя Ермолов, который мнил уже себя в будущем премьером, так как он считался лидером либеральной части бюрократии.

Обычно полусонный, он заметно оживился. Он очень много хлопотал, ездил на частные совеща-

ния бюрократов, устраивал таковые у себя. Результатом этих совещаний явилось решение бюрократов настаивать перед царем на созыве земского собора. В то время самый термин «земский собор» был под запретом. Печать, пользуясь введенной явочным порядком свободой, много писала о необходимости созыва народных представителей, но термина «земский собор» в виду запрета избегала. Когда Ермолов не без торжественности в тоне сообщил мне о решении настаивать перед царем на созыве земского собора, я высказался в том смысле, что общество едва ли удовлетворится законосовещательным органом, что оно уже настроилось на орган законодательный.

В целях успешности в деле получения информации я всегда держался линии мрачной неудовлетворённости. Это всегда было понимаемо бюрократами, как мнение крайних левых кругов, где я, как полагали бюрократы, был своим человеком.

Мое заявление о том, что законосовещательный орган не удовлетворит общественного мнения, крайне изумило и даже огорчило Ермолова. Он стал горячо говорить о том, что уравновешенная часть общества встретит земский собор с большой удовлетворенностью, что он уже имел ряд бесед с представителями общественных кругов, и стал убеждать меня в том, что крайние требования крайних левых кругов в такой момент могут испортить все дело, и что вообще государственная мудрость требует постепенности.

Я однако не сдавался, что несколько испортило именинное настроение Ермолова.

Большие споры возникали между мною и Ермоловым на почве еврейского вопроса. Ермолов признавал, что еврейские ограничения явление урод-

ливое, но вместе с тем считал необходимым реформу в этом деле проводить постепенно. Я настаивал на полном раскрепощении. Спор иногда принимал острый характер, отчего еще больше возрастала комичность этого своеобразного диспута. Получалось такое впечатление, как будто от нас обоих и оттого, к какому мы придем соглашению, зависит участь еврейского вопроса.

Ввиду того, что настроение в стране все более обострялось, царь наконец дал согласие на созыв земского собора, как тогда называли. 17 февраля министры вернулись от царя в повышенном настроении. Ермолов вызвал меня по телефону и сообщил, что наконец удалось уломать царя, и что завтра будет опубликован манифест о созыве выборных представителей от народа, которым будут предоставлены законосовещательные функции. С невероятным напряжением ожидали этого манифеста.

Действительно на другой день был опубликован манифест. Но содержание его привело всех в неописуемое изумление. Вместо созыва земского собора манифест предоставлял всем гражданам право вносить свои законодательные предположения на обсуждение комитета министров. Собственно это было то, что в свое время предлагал Сипягин, только вместо канцелярии Николая — в центре ставился комитет министров.

Это произвело необычайный переполох. Настолько, что министры утром 18 числа, вопреки ритуалу, не испросив предварительно разрешения от царя, сами отправились к нему скопом и настаивали на том, чтобы царь выполнил данное вчера обещание. Царь сдался. В тот же день 18 февраля последовал второй указ о созыве народных представителей.

Ермолов ликовал: он считал себя уже премьером. В этот день я с ним имел пространную беседу, которая должна была появиться в газете «Русь». Поздно вечером я получил от Ермолова письмо, в котором он просил меня отложить беседу и заехать к нему завтра с текстом, мотивируя тем, что он в беседе «высказался недостаточно либерально по нынешнему моменту».

В этот момент растерянность бюрократии достигла высших пределов тем более что, как выражались сами бюрократы, на посту министра внутренних дел не было министра внутренних дел, а был всего на всего Булыгин. Печать писала, что хотела. Николая II перестали именовать государем, а называли уже просто царем и при том не с прописной буквы.

Правда, бывали и репрессии, но эти репрессии служили только на пользу тем, к которым они применялись. Так например, газета «Русь» была на короткое время закрыта за мою заметку о заседании под председательством царя. Такие заметки появлялись в «Руси» после каждого заседания. На этот раз заметка начиналась с сообщения о том, что царь, открыв собрание, выразил недовольство по поводу того, что отчет о заседаниях появляется в газетах. Для самой газеты репрессия эта была на руку и послужила ее репутации. Суворин даже закатил по этому случаю торжественный обед для сотрудников.

В это время интервью с министрами стало настолько обыденным явлением, что я почти забросил эту систему и прибегал к интервью в исключительных случаях. Знакомство же с министрами я пользовал исключительно в целях информационных.

* * *

С назначением Булыгина роль комитета министров свелась на нет. Указ 12 декабря потерял свою силу. Для проведения в жизнь намеченных реформ была образована комиссия под председательством Булыгина, которой было поручено разработать проект положения о созыве народных представителей. Впоследствии была образована также комиссия под председательством графа Сольского, которой было поручено разработать проекты ближайших реформ, а также обсудить вопрос об объединении деятельности министров.

Предстоявшее открытие законосовещательного учреждения никого не удовлетворяло. Общественное мнение все более подымало голову. Начались митинги, на которых высказывали резкое суждение строя. Митинги часто устраивались за городом. Устраивались поездки на пароходах, часто митинги происходили в Териоках. Фактически власть была только на бумаге. Начали образовываться всевозможные союзы.

В один прекрасный день я получил от директора петербургского телеграфного агентства Миллера предложение явиться к нему. Когда я приехал, он предложил мне работать в агентстве и сообщать ему те сведения, которые я даю в газеты. Особенно его интересовали работы комиссии Сольского. Все попытки агенства иметь информацию оттуда потерпели фиаско, несмотря на то, что миссия добывания информации была поручена помощнику директора Гольцингеру. Как мне сообщил Миллер, неудачи Гольцингера происходят оттого, что, как только он является к кому нибудь из членов комиссии с просьбой дать сведения, он получает неизменный ответ, что так как заседа-

ния комиссии закрытые, то сведений дать не могут. Благодаря этому официальное агентство стало в очень неловкое положение: оно вынуждено было сведения брать из газет. Миллер выразил свое удивление по поводу того, как мне удается добывать сведения, и все допытывался узнать в чем секрет.

Положение бюрократии в этот момент было своеобразно. Одновременно с правительством неограниченного самодержца, существовал совет рабочих депутатов, который привлекал всеобщее внимание, который открыто говорил о ниспровержении существующего строя, в котором приняли участие заведомые революционеры и террористы. И в то же время он существовал вполне открыто. Петербургский градоначальник неоднократно имел разговор с председателем совета Хрусталевым-Носарем. Издававшиеся советом рабочих депутатов «Известия», печатавшиеся в захваченных типографиях, интересовали и читались растерявшимися бюрократами с напряженным интересом. Бессилие сказалось в том, что никому из правителей не приходило даже в голову прекратить это «безобразие».

Помню, с каким нетерпением ожидал превосходительный директор агентства Миллер получения от меня № «Известий». Эти номера приносил мне для распространения мой брат Семен Клячко, принимавший деятельное участие в издании их.

СЕКРЕТ УСПЕХА.

Своеобразная растерянность бюрократии сказалась в одном характерном явлении, которое между прочим значительно содействовало моему успеху в деле информации.

Дело в том, что бюрократия, в особенности в то время, отличалась классической безграмотностью в области политики. Она не имела ни малейшего представления о политических группировках, и все то, что было против нее, классифицировалось одним словом революционер, будь то большевик, меньшевик, эсер, кадет и даже октябрист. Их политическая ориентанция отличалась элементарностью и характеризовалась делением на «мы» и «вы». События 1904 — 1905 года навели на бюрократию такую панику, что «вы» стало для них чем то страшным грядущим и таящим в себе невероятные для них ужасы. После того, как мне удалось проникнуть к некоторым министрам, я стал замечать весьма странное ко мне отношение со стороны многих бюрократов: во время моих посещений, меня пытались интервьюировать на тему о том, что делается «там».

Сановники ожидали переворота и хотели знать повидимому, в каком положении это дело находится, а меня, как человека «с той стороны», счи-

тали осведомленным. Это обстоятельство сослужило мне большую службу, а с течением времени поставило меня в совершенно особые условия. Те бюрократы, которых я посещал, в стремлении вызвать меня на «откровенность», с своей стороны откровенничали и выкладывали все то, что они знали.

Конечно, я никогда не ставил вопрос таким образом, как многие мои коллеги, — что у вас новенького слышно?

Я всегда старался вести общий разговор, во время которого я выдвигал те или иные вопросы, интересовавшие меня, о которых я хотел иметь сведения. С своей стороны бюрократы всегда старались узнать, что происходит «там».

Получалась игра для меня беспроигрышная. Однажды я, прощаясь с Глазовым, с которым я говорил по поводу какого-то проекта, сказал, что я зайду через неделю, к каковому времени ожидалось изготовление этого проекта.

Глазов между прочим был очень напуган и все время почему-то ожидал покушения на свою персону.

В ответ на мое заявление о том, что я приду через неделю, он сказал:

— В моем положении, кто может знать, что будет через неделю.

Я машинально ответил:

— Ну, вас кто же тронет.

Он оживился и спросил меня:

— Вы думаете?

Я понял его и с нарочитой твердостью сказал:

— Я в этом уверен.

Я почуввстовал, что с этого момента я приобрел в лице Глазова друга. Он понял так, что я гарантирую ему жизнь, а в том, что я вполне

осведомлен в терроре, он ни на одну минуту не сомневался.

Учитывая такое отношение бюрократов, я повел определенную линию. Я, конечно, не подтверждал и не отрицал, а всегда в таких случаях переводил разговор на другую тему, что было принимаемо за конспиративный прием и еще более содействовало моей столь своеобразной репутации.

Доходило до того, что, например, Хилков, собираясь поехать на Стрелку, спрашивал меня по телефону, буду ли я сегодня на Стрелке, очевидно предполагая, что раз я решил поехать, то в этот день на Стрелке все будет благополучно и террористических актов не будет. Иногда, когда тот же Хилков встречал меня на Стрелке, он настойчиво просил меня пересесть к нему в карету и, когда я это делал, он повидимому был убежден в том, что в данный момент он гарантирован.

Особенно ярко сказалось это на Штюрмере. Одно время я жил рядом с ним в Ковенском переулке: я жил в доме № 4, а он в № 2. Чуть ли не каждый день под вечер, когда я обедал, он присылал ко мне своего лакея с просьбой, если я свободен, зайти поговорить с ним. В этих беседах он всячески наводил разговор на тему о террористических актах. Он очень боялся покушения, как один из сподвижников Плеве. Я намеками давал ему понять, что едва ли его кто-нибудь тронет, но так как он мне нужен был для информации, то я держал его всегда в напряженном состоянии и полной гарантии никогда не давал, а если успокаивал его, то на короткое время.

Моя репутация в этом отношении стала в бюрократических кругах настолько популярной, что те сановники, к которым я являлся в первый раз, принимали меня с большим любопытством.

Помню, что однажды для чего-то мне понадобилось повидаться с членом государственного совета графом Менгденом. Это был очень чванный бюрократ, который вообще признавал людей только с титулами: барон, граф и т. п. Правда, впоследствии спесь его была в значительной степени сбита так как зять его барон Фредерикс, нижегородский губернатор, проворовался на продовольствии был изоблечен в комбинациях с Лидвалем, был судим и осужден.

Но в то время Менгден был очень горд и заносчив. Когда я передал его камердинеру карточку, тот ответил:

— Их сиятельство не принимают.

Я все же потребовал, чтобы он передал карточку. Через несколько минут я был приглашен в гостиную. Ко мне вытел небольшого роста, седенький старичек, окончательно рамолизованный. подошел ко мне мелкими шаркающими шажками, поздоровался, а затем, отойдя шага два назад, стал меня рассматривать через лорнет и со старческим шамканием произнес:

— Так это вы, господин Львов! Очень, очень интересно.

Очень часто в беседах правые бюрократы старались мне внушить мысль о том, что террором ничего нельзя добиться; что, не будь террора, само правительство пошло бы значительно дальше вперед; что реформы в значительной степени приостанавливаются этим террором, так как правительство, готовое дать известные свободы, предпочитает их провести добровольно, по собственному побуждению, а не под насильственным требованием террора.

Я очень внимательно выслушивал, но уклонялся от разговоров на эту тему, а попутно я вы-

тывал о том, до каких пределов правительство намерено итти в своих реформах. Плана, конечно никакого не было, так как собственно и правительства не было, но новости дня удавалось узнавать таким путем в исчерпывающей степени.

Однажды, незадолго до начала октябрьской забастовки, Штюрмер прислал ко мне лакея с запиской, что он настоятельно просит меня зайти.

Когда я пришел, он заговорил на тему об общем положении дел. Атмосфера тогда заметно сгущалась. А затем он вдруг повел весьма любопытный разговор. Он говорил, что правая часть бюрократии вовсе не так враждебно настроена, что время показало им, что необходимо многое изменить в строе, что они поняли, что надо равняться по Западной Европе. Он долго говорил на эту тему и закончил намеком на то, что бюрократия, может быть, могла бы сговориться с левыми. При этом он напомнил общеизвестный факт, что после убийства Александра II было предположение о том, чтобы войти в переговоры с террористами.

Я понял, что на меня повидимому рассчитывают, как на парламентера или посредника. Говорил Штюрмер очень серьезно. Мне стоило больших усилий удержаться от улыбки и от иронии по поводу убожества бюрократии, столь ярко выступившего из предложения Штюрмера. Я сделал очень серьезный вид, и перевел разговор на другую тему. Вместе с тем я понял, что Штюрмер уверен, что я это передам «туда». Через несколько дней он опять вызвал меня и вновь заговорил на эту тему. Дабы покончить с этой комедией, я сказал от себя, что настроение масс теперь таково, что едва ли лидеры левых групп пошли бы на переговоры, опасаясь, что в этом возбужден-

ное настроение масс может усмотреть измену. Штюрмер повидимому понял это, как замаскированный ответ «оттуда».

Повидимому эта попытка Штюрмера была сделана им не по своей инициативе. Сужу так потому, что через некоторое время состоялось знаменитое свидание Трепова с кадетами в ресторане Донона.

Период конца 1905 года и начала 1906 года окончательно закрепил мою позицию. Многие бюрократы на меня перестали смотреть, только как на журналиста, и стали считать меня человеком исключительно осведомленным о том, что делается на обоих фронтах. Средние и низшие бюрократические чины, учитывая мой доступ к их шефам во всякое время, с своей стороны передо мной не делали тайн, а иногда даже услужливо ставили меня в известность о некоторых проектах и предположениях, повидимому, из опасения, что в случае порчи со мной отношений я мог повредить им в глазах их патронов.

С. Ю. ВИТТЕ.

Булыгинский проект был дискредитирован уже вскоре после опубликования положения о созыве законосовещательного органа. Война с Японией была окончательно проиграна, и решено было заключить мир. Долго колебались, кого послать. Как ни ненавидел Николай Витте, он все-таки должен был послать его по настоянию значительного большинства даже правых.

В. К. Плеве с самого назначения своего министром внутренних дел повел энергичную борьбу против С. Ю. Витте. Плеве был очень честолюбив, стремился захватить все влияние на царя. В то же время он был достаточно умен, чтобы понять, что Витте слишком крупный человек, и отбить у него влияние трудно. Единственный исход—свергнуть гр. Витте. И он повел кампанию против своего соперника. Ему легко удалось привлечь на свою сторону влиятельных лиц, так как бюрократы не любили Витте и еще больше боялись его — быть может, главным образом, потому, что чувствовали свою незначительность и мизерность перед ним. Сам Витте не скрывал своего презрения к большинству бюрократов, был очень резок в суждениях о них и часто давал многим эпитеты весьма нелестного свойства, доходившие до тех, которых они касались.

Витте, со своей стороны, повел против Плеве кампанию.

Борьба обострялась. И Витте, и Плеве чуть не на каждом своем докладе жаловались государю друг на друга.

Слабовольный царь каждому подавал надежду и чуть ли не торжественное обещание устранить врага.

Плеве, как более ловкому, удалось использовать один такой момент и убедить государя подписать указ об отставке Витте.

За два дня до отставки С. Ю. Витте имел милостивый прием, на котором царь торжественно обещал уволить Плеве. А через два дня Витте было приказано подать прошение. В этот момент указ о его отставке уже был подписан.

После головокружительной блестящей карьеры, после двадцатилетней кипучей деятельности, ознаменовавшейся исключительным влиянием, — С. Ю. Витте, в расцвете сил, энергии и популярности, вышедшей далеко за пределы России, был сдан в архив. Его назначили председателем комитета министров — учреждения, фактически бездействовавшего, не имевшего никакого влияния, не игравшего никакой роли.

Но вот 12 декабря 1904 г. на комитет министров, председателем коего состоял С. Ю. Витте, специальным указом была возложена разработка проектов реформ государственного строя в России.

Сделано это было под влиянием все нароставшего общественного движения, которое стало пугать растерявшегося Николая II.

Я тогда впервые заехал к С. Ю. Витте, как журналист.

С. Ю. Витте принял меня очень любезно. Он имел оживленный вид, говорил с большим воодушевлением. Было очевидно, что он придавал деятельности комитета большое значение. Он уже тогда говорил, что придется войти в сношения с общественными деятелями. В нем кипела жажда работы.

Взяв с меня слово, что я о нашей беседе не буду печатать, он подробно высказал свой взгляд на общее положение вещей. Говоря о современных правительственных деятелях, он давал довольно меткие характеристики, подчас в таких выражениях, которые не вполне удобны для помещения в печати [1]). Перед уходом, я попросил у него разрешения заезжать к нему после заседаний комитета для того, чтобы получать сведения о ходе деятельности этого учреждения.

---

[1]) О жаргоне Витте можно судить по следующей выдержке из письма Витте (к Э. М. Диллону от 22 августа 1906 года).

«О Столыпине я такого же мнения, как и вы, но за его честность и мужество все мои симпатии на его стороне. Как бы я желал ему всякого счастья. Он всетаки лучше этой сволочи Дурново, Горемыкина, Стишинского и т. д. Беда его в том, что он был в таком министерстве, как горемыкинское, и был с этой гадостью солидарен, жаль тоже, что он иногда говорит с корреспондентами. Какой хлыщ Извольский. Хорошо, что нам ныне приходится играть второстепенную роль в политике,— воображаю, что этот бы хлыщ натворил. Был бы очень рад, если бы у меня были развязаны руки, я бы поставил его на подобающее место—в лакейскую. Все новые партии дошли до исступления. Ведь все эти покушения представляют собою действия дьявола, а либеральные партии (кадеты) им поддакивают. Даже правые, слева, и те революционируют. а бюрократия между собой грызется. Когда я ушел, то я никому не сказал слова дурного, а посмотрите и послушайте, что взваливают на меня теперь оставшиеся у кормила правления. Эти олухи не могут понять, что мое единственное желание, чтобы меня оставили в покое».

С. Ю. Витте сказал, что он охотно будет давать все сведеня, даже, разрешил получать их от него также и по телефону, но поставил два условия: 1) он будет давать сведения только в том случае, если до обращения к нему, я каждый раз буду иметь сведения о занятиях комитета, хотя бы самые общие, из другого источника. Ему нужно было иметь доказательство, что я имею сведения не только от него одного, 2) чтобы я не ссылался в печати на него.

Оживление Витте вскоре пропало. Уже после первых заседаний, я, заехав однажды к Витте, нашел его в удрученном состоянии, не было ни бодрости, ни кипения. Выяснилось, что отношение верхов к комитету отрицательное. Николай II даже уклонялся от докладов председателя комитета. О царе Витте говорил с необычайным раздражением, а деятельность комитета охарактеризовал словом, знаменующим известный свойственный юношам порок.

Раза два или три после этого я посетил Витте. Он производил удручающее впечатление, и имел—я бы сказал—какой-то пришибленный вид.

Все его лицо, вся его фигура выражали угрюмость и озлобленность. Он в буквальном смысле слова страдал. О современных деятелях бюрократии отзывался с исключительной злобной грубостью. Во время разговоров он ходил большими шагами по кабинету. Было ясно, что он задыхается в тоске по делу и власти. Будущее России он рисовал в самых мрачных красках. Он предвидел крупные и тяжкие последствия от этой «маленькой войны», которую «затеяли жулики и ведут идиоты».

В то же время он говорил охотно. Отводил ли он душу или он просто через меня хотел напо-

мнить о себе общественным деятелям, на которых он сильно рассчитывал? Наши беседы затягивались. Вместе с угрюмостью, в нем была видна надежда. Предвидел ли он, или просто чувствовал, что ему еще придется сыграть роль, но он постоянно говорил на тему об общественном мнении, об общественных деятелях. Бывая у него, я каждый раз получал впечатление, что он доволен моими визитами; подробно расспрашивал о настроениях.

Однажды после довольно долгого перерыва в моих визитах, я, приехав домой, к своему удивлению, нашел визитную карточку С. Ю. Витте. Швейцар сообщил мне, что приехавший в карете высокий господин наказал ему не забыть передать карточку.

Через некоторое время я заехал к нему и заметил резкую перемену в его настроении: он опять оживился, был значительно мягче в своих суждениях и характеристиках, хотя, конечно, не обходился без «выражений». В то время стали говорить о возможной его поездке в Америку для ведения мирных переговоров. Незадолго до его отъезда, я, заехав к нему, был прямо поражен: он был в каком-то особо повышенном настроении; он весь как-будто ожил. О своей миссии он говорил с большим воодушевлением. Повидимому, у него уже созрел план. На сей раз он был как-то даже незлобив и вульгарные характеристики давал—я бы сказал—с некоторым добродушием.

Вернулся он с триумфом. Получил графский титул. Успешное выполнение миссии, однако, окончательно погубило его карьеру: Николай II еще более возненавидел его, а дворцовые шептуны продолжали усиленно настраивать царя против Витте, указывая на то, что Витте своей попу-

лярностью все более затмевает фигуру самого царя.

Этот мотив между прочим стал обычным орудием в руках придворных интриганов. Впоследствии тем же путем было ослаблено влияние Столыпина, карьера которого, собственно говоря, была закончена еще до его убийства. Было определенно известно, что после поездки в Киев Столыпин должен быть назначен на пост наместника на Кавказ, или, как острили в бюрократических кругах, «подлежит ссылке в места не столь отдаленные».

КАБИНЕТ ВИТТЕ.

К моменту возвращения Витте из Америки власть была окончательно расшатана. Начались забастовки. Царь совершенно растерялся. В результате манифест 17 октября.

Наиболее ярким явлением в этот момент был выход газеты «Новая Жизнь». Номинальным ее редактором значился поэт Минский, фактическим П. П. Румянцев. В состав редакции входили Л. Каменев, В. Ксандров, Ольминский, А. В. Луначарский и др. Субсидировалась газета Красиным и Горьким. В. Н. Ксандров предложил мне вести информационный отдел. Но так как участвовать в газете могли только партийные, то вопрос о приглашении меня был обсужден в П. К. На другой день В. Ксандров и Е. Стасова сообщили мне, что П. К. дал согласие на мое участие в газете. Первый номер газеты произвел впечатление взорвавшейся бомбы. В нем была напечатана программа Р.С.Д.Р.П., в коей говорилось о том, что партия стремится к ниспровержению существующего строя.

Номер был конфискован уже после того, как часть его была распродана. Отнимали номера у газетчиков. Но закрыть газету у правительства не было сил. Газета выходила около месяца.

Атмосфера в городе была крайне напряженная. После треповского рукоприкладства к манифесту 17 октября полиция вместе с черносотенцами проектировала погромы евреев и интеллигенции.

Напуганные обыватели тысячами устремились в Финляндию. Там собралось столько народу, что жили в вагонах, на вокзалах.

Союзы организовали отряды самозащиты. Дежурные из отрядов стояли на всех перекрестках.

«Новая Жизнь» должна была принимать особо серьезные меры. На нее более всего готовился поход черносотенцев. Газета печаталась в типографии Богельмана на Коломенской. Все, до наборщиков включительно, были вооружены. Обычно к 11 часам ночи приезжал В. И. Ленин и здесь же писал очередную статью.

За всю свою долголетнюю газетную деятельность я никогда не испытывал такой свободы печати, как во время работы в «Новой Жизни». Писали без обиняков, называя вещи своими именами, не задумываясь над тем, что скажет власть. Писали свободно, легко, писали, что думали и как думали. Если не ошибаюсь, на 28-м номере газета была закрыта.

* * *

Уже в первые дни торжество, внушенное манифестом 17 октября, было омрачено. К манифесту приложил кровавую руку Трепов. В тот момент царь был настолько растерян, а Витте настолько силен, что, если бы Витте хотел, он мог бы предупредить эту кровавую расправу. Не сделал он этого по следующим причинам.

Дело в том, что Николай II колебался подписать манифест 17 октября, и графу Витте удалось вырвать подпись только после заявления,

что в любой момент, хотя бы через несколько дней, когда страна немножко успокоится под влиянием манифеста, можно будет подавить волнения и опубликовать другой указ. Об этом говорили совершенно определенно. Это подтвердил мне и граф Д. М. Сольский, первый председатель реформированого государственного совета. Аргумент подействовал на Николая II.

Как же мог Витте протестовать против треповских патронов! Ведь эти патроны имели своею целью то самое подавление, через которое необходимо пройти к отмене манифеста, под каковым условием последний был подписан. Графу Витте запутавшемуся в собственной игре, были отрезаны пути к протесту.

Я указал в печати на двусмысленное положение самого Витте и непрочность акта, который имеет такое огромное значение и был проведен, благодаря столь сомнительному аргументу.

В день опубликования моей заметки я был вызван к графу Витте. В квартире его нашел форменный содом: повсюду на столе и на полу валялись документы и справки, ожидали многочисленные депутации, бегали курьеры. Граф Витте отвел меня в особую комнату, и уставившись на меня в упор, сказал:

— Вот уж никак не ожидал, чтобы вы мне ставили палки в колеса.

— Вы никак не должны были ожидать, что я скрою сведения, имеющие столь важное общественное значение, — ответил я.

— Во первых, ваше сообщение не вполне правильное, а во вторых, вы же сами понимаете что с этим кретином (его буквальное выражение про Николая II) иначе ничего не поделаешь.

— Тем более я должен был об этом сообщить.

— В будущем, для истории. Но сейчас вы не должны были этого делать. Вы должны исправить ошибку и опровергнуть ваше сообщение.

— Ошибкой я не считаю и опровергать не стану. Но ручаюсь, что если вы пришлете опровержение, оно будет напечатано.

— Дайте мне слово, что после моего опровержения вы не будете касаться этого вопроса.

— Этого слова я дать не могу. Я, наоборот, буду утверждать, что я прав, так как я знаю, что мое сообщение верно.

— Что же мне с вами делать?

— У вас вся полнота власти: вы можете меня арестовать, выслать.

С. Ю. Витте слегка наклонился ко мне и сказал:

— Пусть вам дураки создают карьеру.

На этом разговор у нас кончился.

Растерянность графа особенно ярко сказывалась на приемах депутаций. Депутации повалили к Витте десятками ежедневно, от всевозможных организаций, от городов. Все они, вместе с поздравлениями, высказывали пожелания, требования, жалобы. Надо было им всем отвечать. Но что отвечать — растерявшийся премьер не знал, и каждой депутации он делал противоречивые заявления, пытаясь, повидимому попасть в тон. Получился невероятный сумбур: то, что он говорил сейчас одной депутации, противоречило тому, что он говорил другой. Все это сообщалось в газетах. На этой почве возникла характерная история.

В числе прочих к С. Ю. Витте явилась депутация екатеринодарских обывателей. Это все были люди очень сметливые и довольно прогрессивно настроенные. Один из них, по фамилии, на-

сколько мне помнится, Бесходарный, впоследствие попал в депутаты и был в левом крыле. После приема, я заехал к ним (они жили в гостинице на Старо-Невском проспекте). С недоумением и не без насмешки они рассказывали мне, что граф Витте, по костюму или по другим признакам, повидимому принял их за «истинно-русских», и, с целью попасть в тон, подробно развил им тему о том, что «во всем жиды виноваты». Я тут же записал все, что они мне сказали; мы по возможности точно восстановили беседу депутации с премьером, все члены депутации подтвердили правильность изложенного и подписались на оригинале. Я засвидетельствовал их подписи у нотариуса и напечатал беседу в «Нашей Жизни».

На другой день во всех газетах было напечатано, по распоряжению графа Витте, опровержение этой беседы.

Я тут же напечатал заявление, что все изложенное мною в беседе безусловно верно, что опровержение графа Витте, заведомо для него, ложно и предлагал ему коронным судом восстановить свое доброе имя.

Суда не последовало и никаких дальнейших шагов Витте не предпринимал.

Что характерно для Витте — эта история не испортила наших отношений и когда я, спустя несколько месяцев, встретил его в кулуарах реформированного государственного совета и мы с ним разговорились, он ни одним словом не обмолвился на эту тему.

Начались заседания совета министров. Кабинет был подобран самим графом Витте, при чем он, имея полную возможность избрать себе кого угодно министром внутренних дел, все же остановился на Дурново. Это опять таки знаменатель

его двойственной политики, которая потом ярко сказалась в том, что он все взваливал на Дурново.

Чувствуя двойственность своего положения и стремясь расположить к себе общественные группы, Витте неоднократно пытался входить в переговоры с некоторыми представителями общественности.

Делал это он впрочем для показу. Предлагая некоторым, конечно, умеренным «левым» занять какой либо пост, он в то же время через своих ближайших помощников действовал так, что те, которым он предлагал, отказывались, а Витте затем жаловался на то, что общественные деятели отказываются прийти к нему на помощь.

Он не прочь был привлечь в свой кабинет бюрократов, считавшихся либералами. Так например, он при образовании им кабинета предложил члену государственного совета Н. С. Таганцеву, считавшемуся весьма левым, пост министра народного просвещения.

Н. С. Таганцев представлял из себя не заурядное явление на бюрократическом горизонте. Профессор уголовного права Таганцев при всех переменах курса держал себя независимо и считался бюрократом-демократом. Он жил довольно скромно и питал к ужасу многих бюрократов пристрастие к пивным и кабачкам. Возвращаясь из заседания государственного совета, Таганцев неизменно заходил в известный ресторанчик Соловьева, на углу Гороховой улицы и Гоголя. Там я его по большей части поджидал, дабы получить информацию о заседании государственного совета. Отсюда мы заходили к Доминику. Везде его знали по имени-отчеству, знали его вкус и как только он показывался в дверях, ему уже наливали его собственный фужер. Здесь он считался своим человеком.

В бюрократических кругах с ним весьма считались в юридических вопросах. Он особенно интесовался сектантством и пользуясь своим влиянием, часто добивался смячения гонений.

Витте убедил его принять пост министра народного просвещения и был очень доволен, что Таганцев изъявил на это согласие.

Зная, для чего вызвал Витте Таганцева, я ожидал его возвращения на его квартире. Тут же поджидал его большой друг, директор Политехнического Института профессор Постников. Когда Таганцев приехал от Витте и сообщил о том, что он назначен министром народного просвещения, Постников стал настаивать на том, чтобы он отказался. Он доказывал всю двойственность политики Витте, высказывает убеждение, что Таганцеву не следует вмешиваться в эту игру. Таганцев и сам согласился с этим, но ему неловко было взять слово обратно.

Я уехал, оставив их спорящими и заявив Таганцеву, что я до вечера буду ждать его решения, а до тех пор не дам сведений о его назначении. Через несколько часов он позвонил мне и сообщил, что он отказался, добавив при этом, что ему это досталось с большим трудом. Витте не хотел принять его отказа, мотивируя тем, что указ о назначении его уже подписан. Таганцев все же настаивал, но при этом он, по просьбе Витте, дал ему слово, что о его четырехчасовом пребывании в звании министра он не сообщит в печати, ввиду чего Таганцев меня просил ничего об этом не печатать.

Просьбу его я исполнил и только, спустя несколько лет, ко дню юбилея Таганцева, из моей статьи по этому поводу, российская публика узнала, что он в течение четырех часов был министром народного просвещения.

Заседания совета министров носили весьма сумбурный характер, который вполне соответствовал двойственной игре растерявшегося премьера. Несмотря на то, что Витте явился творцом свободы, он имел, как выражаются, плохую прессу. К нему относились с недоверием.

В то же время его очень смущал совет рабочих депутатов, но долгое время даже Дурново не решался принять репрессивных мер. Из появлявшихся в газетах отчетов о заседаниях совета министров двойственность и сумбурность политики графа Витте выступали вполне наглядно. Хотя граф Витте сам неоднократно мне сообщал сведения о заседаниях. но он конечно старался придать этим сведениям желательный ему характер, поэтому приходилось сведения проверять у других членов кабинета и в конце концов в печати появлялись сообщения, соответствовавшие действительному положению вещей.

Это очень не нравилось графу Витте. Однажды на заседании совета министров он в довольно резкой форме выразил министру внутренних дел Дурново свое неудовольствие по поводу того, что закрытые заседания совета министров становятся достоянием гласности, и предложил Дурново установить за мною наблюдение. Об этом мне сообщил по телефону министр торговли Тимирязев, как только приехал с заседания домой, причем он просил в этот день не заезжать к нему, так как Дурново еще во время заседания совета министров отдал распоряжение о наблюдении за мною.

Узнав по телефону от него и министра народного просвещения Толстого подробности заседания, я немедленно поехал к Витте. Витте по обыкновению сообщил сведения в том виде, в ка-

ком ему были желательны. Я не показал виду, что знаю уже все, что происходило. Просидел у него довольно долго. Он любил много говорить на тему об общем положении дел, стараясь внушить правильность своей линии, обусловливаемой по его мнению серьезным моментом.

На другой день я в газете сообщил все, что происходило в заседании совета, в том числе и недовольство, высказанное графом Витте.

На следующем заседании граф Витте в еще более резкой форме высказал свое недовольство министру внутренних дел Дурново.

Тогда Дурново спокойно ему заявил:

— Во исполнение желания вашего сиятельства, я в прошлый раз по телефону из заседания совета министров распорядился о наблюдении за журналистом Львовым. Из доставленных мне агентурных сведений видно, что спустя, минут сорок по окончании заседания совета министров, Львов заехал из дому прямо к вам, провел у вас больше сорока минут и в тот день больше ни у кого из членов совета министров не был.

— Но я сообщил ему совсем другие сведения,— заявил граф Витте.

— Мои данные совершенно точны, — ответил Дурново, — ибо весь этот вечер Львов находился под наблюдением исключительно опытных агентов.

Вопрос о совете рабочих депутатов неизменно затрагивался на каждом заседании. В конце концов решено было ликвидировать этот орган. Министру юстиции Манухину было предложено возбудить против совета преследование и отдать его под суд. Манухин, строгий формалист, воспитанный на традициях реформ судебных уставов, в решительной форме отказался это сделать.

При этом он указал, что привлечь совет рабочих депутатов, как тайное сообщество, поставившее себе целью ниспровержение самодержавия, он не может, так как С. Р. Д. действовал вполне открыто, заседал в общеизвестном определенном месте и даже имел официальные сношения с администрацией, как, например, с петербургским градоначальником. При таких обстоятельствах он, министр юстиции, может привлечь лишь всех повинных, как в существовании, так и в попустительстве этой противозаконной организации т. е. не только членов С. Р. Д., но и градоначальника, и министра вн. дел. Если же требуется ликвидация этого органа, который правительство терпело столько времени, то это дело министра внутренних дел, а не министра юстиции. Это был второй акт проявления независимости со стороны Манухина. Незадолго перед этим ему было предложено устранить за левизну двух московских судебных деятелей Арнольда и Давыдова. Манухин отказался это сделать, ссылаясь на закон о несменяемости. Его отказ привлечь совет рабочих депутатов переполнил чашу. Манухин получил отставку.

Его заместителем неожиданно для всех, в том числе и для Витте, был назначен незаметный, ничем не отличившийся до сих пор сенатор Акимов.

Акимов был креатурой Дурново (они были женаты на сестрах). Это был грубый, узкий чиновник, отлично учитывавший настроение момента. Получив назначение, он даже не счел нужным сделать визит графу Витте, который до тех пор его не знал. Не знали его и другие министры. Познакомился с ним Витте и другие министры уже непосредственно в зеседании. Его

первое появление в заседании совета министров носило весьма курьезный характер. Действительно, на заседание совета министров явился никому неизвестный человек небольшого роста, который тут же отрекомендовался вновь назначенным министром юстиции. Едва ли не единственный человек, который мог удостоверить его личность, был его свояк Дурново.

Вскоре после своего назначения Акимов сместил Арнольда и Давыдова и энергично повел дело о предании Совета рабочих депутатов суду.

Витте сразу не взлюбил Акимова и третировал его: когда он ездил в государственный совет, он в качестве представителя юстиции брал с собою товарища мин. юст. И. Г. Щегловитова. Щегловитов тогда еще был левым, он еще продолжал работать в левом юридическом журнале «Право», редактором коего состоял И. В. Гессен, впоследствии редактор «Речи». Но в это время Щегловитов уже стал брать курс вправо и сделал это столь успешно, что, когда весь кабинет вместе с Витте, был смещен, Щегловитов получил назначение министра юстиции. Правизна его стала быстро прогрессировать; он не останавливался ни перед чем и в нарушении всех основ законодательства дошел даже до того, что гордившийся им в свое время учитель его член государственного совета Таганцев перестал подавать ему руку.

Вместе с тем Щегловитов стал завзятым юдофобом. В министерстве юстиции каким-то образом сохранились еще со старых времен на видных постах три еврея. Два не крещеных Гальперн и Тейтель. Первый был ближайшим помощником министра юстиции, а второй был членом Саратовской судебной палаты. Третий, крещеный, еврей Гасман—товарищ министра юстиции.

Последнего Щегловитов еще терпел, но с Гальперном, как с некрещеным евреем, он не мог никак примириться. Долгое время Щегловитов, однако, не решался его устранить, ему было неловко: при Гальперне он начал свою карьеру; при том Гальперн пользовался безупречной репутацией и был весьма ценным работником. Точно так же неудобно было справиться с Тейтелем в силу закона о несменяемости, тем более, что Тейтель никаких поводов к устранению не давал. В конце концов Щегловитов всетаки не выдержал, дал Гальперну отставку и по этому поводу написал главе Саратовского судебного округа Чебышеву, своему близкому приятелю, письмо, в котором он писал, между прочим, следующее:

— Я с своим жидом справился; жду, когда ты справишься со своим.

ОТСТАВКА КАБИНЕТА.

Легко понять, с каким напряжением граф Витте ожидал момента открытия законодательных органов, и как страстно хотелось ему играть главную роль в обновленном строе. Вместе с тем ненависть к нему царя все более возростала; для всех было ясно, что карьера Витте кончена. Чувствовал это и Витте. Он сам не раз говорил мне, что царь все менее скрывает неприязнь к нему; что нередко на докладах государь выслушивает его стоя, отвернувшись к окну и барабаня по стеклу пальцами. Это был известный в придворных кругах симптом: царь недоволен. Все это внушало гр. Витте ядовитое сомнение в прочности его положения. Это тяготило гр. Витте. Стремясь определить свое положение, гр. Витте неоднократно на докладах, видя нескрываемую неприязнь государя, ставил вопрос о том, не уйти ли ему. И каждый раз получал от царя ответ, что до открытия Думы об этом речи быть не может, — он должен открыть Думу.

Здесь сказалась одна из характерных сторон Николая II. В осведомленных кругах было хорошо известно, что царь решил отставить ненавистного ему премьера. Но со свойственным ему ехидством, он решил сделать это так, чтобы ударить Витте, как можно больнее. Вот почему

он решил осуществить свое намерение именно в тот момент, когда гр. Витте менее всего мог этого ожидать. Действительно. Время шло. Приближался день открытия Думы. Чем ближе подходил этот срок, тем менее допускалась возможность отставки премьера. Сами бюрократы начали было сомневаться в том, что Витте получит отставку. Ведь преемнику его надо дать время подготовиться для встречи нового законодателя. Тем более, что предстоявшая Дума внушала серьезные опасения. Бюрократия ожидала ее не без страха. В придворных кругах циркулировали всевозможные записки на имя царя. В этих записках высказывались тревоги, опасения, давались советы, говорилось о необходимости твердой власти. Но никто из этих «писателей» даже не заикался о возможности ликвидировать Думу прежде, чем она собралась. Шептуны же подчеркивали, что Витте обманул. Он, дескать, конечно, знал, что манифест 17 октября нельзя взять обратно. Не надо было его подписывать. Все опасались, что в случае роспуска, Дума не разойдется и начнется настоящая революция.

Особенно характерна записка, составленная А. В. Кривошеиным. В этой записке указывалось на необходимость строгого объединения действий правительства для установления определенного курса,—твердого и вместе с тем ориентирующегося в создавшемся положении.

Наиболее сильное впечатление произвела та часть записки, в которой говорилось о том, что Людовик XVI в самый решительный момент пустил государственный корабль без надлежащего руля, и это привело его к гильотине.

Эта записка, по распоряжению царя, была отпечатана и послана в Совещание Д. М. Сольского,

обсуждавшее вопрос об объединении деятельности совета министров. Место, где говорилось о Людовике XVI, было подчеркнуто карандашом лично государем, и кроме того на записке была собственноручная надпись царя о том, чтобы на записку было обращено особое внимание.

При таком настроении, — а гр. Витте был отлично об этом осведомлен — ядовитые сомнения у него были перемешаны с розовыми надеждами. В глубине души он лелеял надежду, что слабовольный и напуганный царь не решится пойти на такой серьезный шаг, как отставка кабинета незадолго до открытия Думы, тем более, что премьер не видел в среде бюрократии лиц, пригодных на роль премьера. В этом отношении он был, конечно, прав, что видно из того, что преемником Витте был назначен Горемыкин.

В назначении Горемыкина также сказалось ехидство царя. Горемыкин уже тогда был человеком, вышедшим в тираж. Наполовину рамолизован. Отсюда и взялось его прямо анекдотическое безразличие и апатия. Не даром бюрократы называли его «ваше высокобезразличие». Это качество доходило у него до того, что в заседаниях совета министров он молчал, как будто не принимая никакого участия. Он вставлял слово только тогда, когда ему казалось, что от того или иного действия или мероприятия могут быть нарушены прерогативы монарха. Тогда он просто «не допускал».

Назначил же его государь именно в пику графу Витте: Горемыкин был старым испытанным врагом гр. Витте, выставлявшимся каждый раз царем, когда он хотел особенно уколоть графа Витте. Единоборство двух сановников долгое время сосредоточено было на крестьянском вопросе. Когда

в свое время Витте одержал «победу» над Горемыкиным, совещание по крестьянскому вопросу, в коем председательствовал Горемыкин, было упразднено, и вопрос был передан в особую вновь образованную комиссию о нуждах сельского хозяйства под председательством Витте. В самый разгар ее работ Горемыкину удалось подковырнуть графа Витте. Виттевское совещание было в свою очередь закрыто. Крестьянский вопрос был передан опять Горемыкину. Быть может, Витте снова отвоевал бы крестьян, но он вскоре получил отставку и временно сошел со сцены.

По мере приближения дня открытия Думы уверенность в том, что ему придется открыть Думу, все более возростала.

Правда, гр. Витте все еще пытался выяснить положение и продолжал запрашивать царя, не находит ли он нужным переменить главу правительства. Но он это делал уже все с большей уверенностью, что царь удержит его. И царь удерживал его.

В «Воспоминаниях» графа Витте освещение обстоятельств отставки его страдает некоторой неполнотой. По «Воспоминаниям» выходит, что после того, как он написал царю письмо, — вопрос выяснился, и он к своей отставке был готов.

О том, что Витте написал такое письмо, было известно некоторым министрам. Об этом мне в свое время говорил А. Д. Оболенский, обер-прокурор в кабинете Витте.

В то же время определенно высказывали предположение, что, написав это письмо, Витте, однако, его н е посылал.

Во всяком случае, отставка явилась для Витте вполне неожиданной.

Это видно из следующего.

22 апреля 1906 г. по городу распространились слухи о том, что отставка кабинета—совершившийся факт. В бюрократических кругах это известие вызвало большой переполох. Так как до открытия Думы осталось всего 2—3 дня, то почти все, в том числе и многие ярые противники Витте — считали, что он остается на посту. Даже те, которые вели упорную кампанию против Витте, не считали возможной перемену кабинета накануне открытия Гос. Думы. Опасались, что это может привести к печальным последствиям. Ведь надо же подготовиться к встрече Думы, надо выбрать—«твердое, но вместе с тем ориентирующееся направление». Разве можно возложить это серьезное дело на полурамолизованного, апатичного Горемыкина — царедворца и бюрократа до мозга костей?

Вот почему слухи эти хотя и передавались в категорической форме, все же вызывали большое сомнение.

23 апреля, около 11 ч. утра, я заехал к государственному секретарю Ю. А. Икскулю.

Спокойного, уравновешенного и корректного Икскуля я застал в состоянии необычайного возбуждения. Он собщил мне, с несвойственным ему волнением, о том, что только-что получены указы об отставке министров и о новых назначениях. Как и большинство бюрократов, он считал это роковым шагом: за 48 часов до открытия Думы, этой «страшной» Думы, в недрах своих, быть может, таящей повторение французской революции, переменить весь кабинет, посадить абсолютно неподготовленных людей, да еще возглавить кабинет «его высокобезразличием».

— Ведь это безумие! — невольно вырвалось у Икскуля.

Помимо этого, Икскуля, старого корректного бюрократа, воспитанного в определенных бюрократических тенденциях, шокировала форма этих отставок. Прежде всего всем уволенным министрам даже не предложили подать прошение об отставке, как это всегда водилось при всех царях, даже когда отставлялись самые опальные министры. Между тем, в указах об отставках было сказано: «согласно прошению». Старого бюрократа эта официальная ложь царя повергла в неописуемое смущение. Затем, никто из уволенных министров не получил иикакого назначения, и никому не было дано никакой пенсии, только Акимов и Дурново были назначены членами Государственного Совета. А затем, спустя довольно продолжительное время, двум-трем отставным министрам была назначена пенсия в мизерном размере. Злоба царя на Витте, а от него и на весь его кабинет, получила отголоски в административных кругах и внушила многим бюрократам стремление демонстрировать свое неприязненное отношение ко всем «виттевцам». Это ознаменовалось характерной мелочью. В день опубликования отставок, на квартиру к только что отставленному министру народного просвещения И. И. Толстому явился курьер со щипцами и грубо, неумело сорвал казенный телефон.

Узнав от Икскуля об отставке кабинета, я поехал к А. Д. Оболенскому, который в то время был ближе других министров к Витте, и сообщил ему об этом. Оболенский был ошеломлен. Как и большинство бюрократов, он не допускал возможности этой отставки перед самым открытием Думы. Он тут же при мне позвонил по телефону к Витте. Из реплик, которые он подавал в телефон, было видно, что Витте не верит этому

сообщению. По крайней мере, Оболенекий несколько раз в телефон говорил, что как ни невероятно это сообщение, он, однако, не сомневается в достоверности. Оболенский хотел тут же позвонить по телефону к Икскулю. Я указал ему, что это неудобно, что Икскулю, как государственному секретарю, неловко будет говорить с ним, как с заинтересованным лицом, до официального опубликования.

При моем уходе, Оболенский заметил, что он все-же как-то не может примириться с этим и думает, что это недоразумение.

Под вечер Оболенский вызвал меня по телефону. Я поехал к нему. Нашел его в крайне раздраженном состоянии, в каковое он был приведен только что полученным им указом об отставке. Он даже не мог связно говорить. Он был возмущен в своих лучших бюрократических чувствах, повидимому, более всего формой отставки.

— Сказано — согласно прошению, а я прошения не подавал. Я готов написать письмо в газеты, что не подавал прошения. Выгнали, как прислугу, и даже не рассчитали. Ведь никому даже пенсии не назначили.

Конечно, письма в газеты он не посылал.

На другой день указы об отставке и о назначении нового кабинета были опубликованы. Одновременно был опубликован список членов гос. совета, назначенных к присутствованию в реформированной верхней палате. Здесь ехидство Николая дошло до самозабвения. И сан, и возраст позабыв, он выкинул такое антраша, что даже бюрократия возмутилась: в числе назначенных к присутствованию графа Витте не было. Это вызвало уже не переполох, а просто скандал. Даже самые правые определенно высказывали,

что эта месть, мелкая и недостойная, роняет престиж.

Задавался вопрос, что это означает? Недовольство Думой? Но тогда монарх должен иметь в себе достаточно силы, чтобы не допускать ее открытия. А то ведь это может быть истолковано, как признак того, что у царя нет достаточно решимости, и он из-за угла, косвенно, дает понять о нежелательности Думы.

Престарелый гр. Д. М. Сольский, только что назначенный председателем реформированного гос. совета, испросил аудиенцию и «всеподданнейше» указал государю на неудобство такого шага. Ошибка была исправлена. На другой день последовал новый указ, которым список назначенных к присутствованию членов госуд. совета дополнялся графом Витте и Манухиным.

КОНЕЦ ГРАФА ВИТТЕ.

В реформированном Гос. Совете положение Витте было очень тяжело. Он был совершенно одинок. Ненависть к нему царя была столь общеизвестна, что не многие члены Гос. Совета решались подойти к нему в кулуарах. Он по большей части бродил одиноко, угрюмый, или просто уезжал в начале первого перерыва. Но видно было, что он еще не сдался, что он ждал. Все осложнявшееся положение внушало ему надежду, что его еще призовут. В болезненном своем стремлении к власти, он прибегал ко всевозможным приемам, характеризовавшим его растерянность. Для восстановления своего влияния он не останавливался даже перед стремлением расположить к себе Распутина, хотя делал он это осторожно и косвенно, действуя через жену свою и через других лиц. В своем стремлении восстановить свою репутацию, он прибегал к приемам довольно своеобразным.

Отмечу один характерный факт,

В одном из заседаний первой сессии Гос. Совета он выступил с большой речью. Шел вопрос об отмене смертной казни.

Надо иметь в виду, что в то время горячие и бесконечные споры велись на тему о том, остался ли Николай II после манифеста 17 октября

самодержавным, или этот титул отпал. Этот вопрос приобрел значительную остроту. Правые сделали его основным вопросом политики.

В своей речи гр. Витте, упомянув царя, сказал между прочим: «нашего самодержавного благочестивого неограниченного монарха».

Эти слова произвели огромное впечатление на правых. В мертвящей атмосфере этого безжизненного учреждения послышался нескрываемый шопот одобрения. Как выражаются в таких случаях журналисты, «в зале произошло движение».

Помилуйте, сам творец конституции, сам виновник того, что вообще в России мог подняться спор о том, остался ли монарх самодержавным и неограниченным, в своей речи, да и притом не специально по этому вопросу, а между прочим, при упоминании царя, сказал «самодержавный неограниченный». Ведь это показывает его подлинное убеждение. Ведь это козырь совершенно исключительный.

Я лично наблюдал, какое огромное впечатление это произвело: во время перерыва, в кулуарах, только и разговора было на эту тему. Это было единственное заседание, в котором Витте был неодинок. Его окружали его всегдашние враги, с ним оживленно беседовали. — Казалось, они готовы были позабыть часть своей ненависти и простить ему много грехов. Он и сам несколько оживился; быть может, у него блеснула надежда.

Но в то же время давно уже растерявшийся гр. Витте не мог не вести двойной игры. Ведь все-таки главный его расчет был на общественное мнение. В разговорах со мной он всегда на это напирал.

Меня заинтересовал вопрос, как Витте выйдет из этого положения. Ведь это означало полный

разрыв с прогрессивной частью Думы, на которую Витте возлагал более всего надежд.

Он нашел выход. Но по меньшей мере наивный.

В своем отчете о заседании Гос. Совета я фразу эту привел полностью. Отчеты о заседаниях я давал по своим собственным записям. Стенограммой же я пользовался, как пособием. К моему удивлению, в других газетах, где отчеты составлялись по стенограммам, эта фраза появилась в сокращенном виде. Слов «самодержавного и неограниченного» не было. Было просто сказано: «нашего благочестивого монарха».

Как председатель комитета журналистов при Гос. Совете, я находился в постоянном общении с Российским Агентством, которое вело стенограммы Гос. Совета, и свободно проходил в комнату стенографисток. Я разыскал стенографистку, которая расшифровывала речь Витте. Что же оказалось? В экземпляре, представленном графу Витте на просмотр (стенограммы обычно посылались ораторам на просмотр) слова «самодержавный и неограниченный» были графом Витте собственноручно вычеркнуты.

Расчет был, очевидно, простой: правые слышали и впечатление получилось. Отчетов в газетах они не читают. Им это ни к чему. Да и притом отчеты длинны. Речи, по большей части, в видах экономии места, набираются петитом: читать трудно.

И граф, повидимому, полагал, что это пройдет незамеченным, что ни общественные деятели ни бирюкраты, так и не узнают про этот фокус.

Этот наивный прием, конечно, не удался. Он был мною освещен в печати.

Надежды Витте на то, что его позовут, не оправдались. В глазах царя он был человек кон-

ченный. Какие ни возникали осложнения, — о нем даже не вспоминали.

После открытия Гос. Думы, мне в течение ряда лет очень редко приходилось видеть Витте. Я заезжал к нему несколько раз с большими промежутками — иногда по году. Каждый раз я уносил тяжелое впечатление: этот большой, энергичный человек, с огромным умом, сохранивший всю силу и страстное желание работать, был подавлен.

Тяжело было видеть его, обреченного на бездействие и безнадежно ищущего выхода из угнетавшего его положения.

Тягостнее всего для него было, что надежда на призыв все более и более меркла. Он все более стал чувствовать себя политическим мертвецом. Он несколько раз еще пытался напомнить о себе выступлениями в Гос. Совете. Одни внимательно слушали его, другие демонстративно покидали зал, третьи ехидно перешептывались.

Вскоре о нем опять заговорили, в связи с двукратным покушением на его жизнь. Эти покушения, которых я подробнее коснусь во втором томе моих воспоминаний внесли, много горечи в последние годы жизни гр. Витте.

Горечь эта была вызвана не самым фактом покушения. Наоборот, гр. Витте относился к этому не без бравады. Когда он, будучи за границей, получил от кн. Андронникова телеграмму с просьбой не приезжать, так как на его жизнь предполагается покушение, он немедленно выехал в Россию. Когда во время пребывания в Петербурге он был оповещен, что на другой день, 27 мая 1907 г., назначено покушение на него [1]), он

[1]) О подготовлявшемся покушении знали все бюрократы, знала вся администрация. Петербургский градоначальник сообщил председателю гос. совета о предстоящем покуше-

не остался дома, а отправился в Гос. Совет, по пути к которому предполагалось покушение, и часть пути даже прошел пешком.

Покушение не состоялось потому, что организатор покушения Казанцев накануне был убит Федоровым (убийцей Иоллоси), который по наущению Казанцева, должен был убить Витте.

Угнетало в данном случае Витте совсем другое обстоятельство: правые круги, по инициативе которых и было организовано покушение, чтобы замести следы дела своих рук, пустили инсинуацию о том, что гр. Витте в целях саморекламы сам инсценировал покушение на себя, и стали об этом трубить в своих органах. Инсинуация эта была груба. Факты, указывавшие на то, что покушение это дело правых, слишком разительны.

Организатор покушения Казанцев был одним из наиболее деятельных членов московского союза русского народа; в то же время он служил в охранном отделении, которое ему и выдало паспорт на имя Олейко. Подлинный его паспорт, как оказалось после его убийства, хранился в петербургском градоначальстве. Организовал это покушение Казанцев с ведома и согласия и при постоянном совещании с такими видными монархистами, как бар. Буксгевден, Гофштеттер, Дубровин. О предстоявшем покушении знали решительно все. Вышеприведенную телеграмму Андронников послал графу Витте после визита своего к петербургскому градоначальнику Лауницу, который в разговаре сказал Андронникову, что на

нии, в виду чего заседание Гос. Совета было отменено. Опасались, повидимому, что убийца, если ему не удастся убить Витте по пути, не остановится перед тем, чтобы бросить бомбу при разъезде членов Гос. Совета, а, может быть, и в самом зале.

Витте подготовляется покушение. Это было приблизительно за три месяца до самого покушения. Как выяснилось на допросах во время следствия, о подготовлявшемся покушении знали председатель Гос. Совета Акимов, б. министр Дурново, б. министр финансов Шипов, б. директор д-та полиции Лопухин. Все они, конечно, не были посвящены в детали дела. Но слышали, что такое покушение подготовляется, что они и показали на допросах судебному следователю.

И несмотря на все это, правые не остановились перед инсинуацией и изливали на Витте грязь и клевету. Дело даже дошло до того, что член Гос. Думы Келеповский не постеснялся с думской трибуны заявить о том, что покушение симулировано самим Витте.

Витте обратился к Столыпину с просьбой защитить его хотя бы, как предшественника на премьерском посту. Столыпин не счел нужным заступиться за своего предшественника, а правая печать все продолжала муссировать эту инсинуацию и вплоть до последнего дня жизни Витте не упускала случая облить грязью отставленного премьера.

Правые не оставили его и за гробом. Они не могли ему простить манифеста 17 октября. И когда гр. Витте умер, правые пустили клевету,— правда, в прикрытом виде, но весьма прозрачную,— о том, что Витте будто бы отравился, так как был уличен в изменнических сношениях с немцами.

Последние годы Витте производил особенно тяжелое впечатление. Он остался совершенно одинок. Он был окончательно забыт. У него и с самого начала было мало сторонников. Слишком много было у него завистников. Бездарная вырождающаяся бюрократия никак не могла простить

этому «выскочке», который, только благодаря своему исключительному уму и способностям, сделал невероятно быстро карьеру и попал «из конторщиков прямо в министры». Бюрократы чувствовали свою мизерность перед этой фигурой, затмившей их всех, и не могли, конечно, забыть, как при Александре III и первые годы при Николае II Витте играл настолько решающую роль, что без него не проходило ни одного назначения. Кроме того, они все знали его крайне нелестные и, подчас, непечатные отзывы о них.

Вот почему, когда окончательно выяснилось, что он в бесповоротной опале, на него стали вешать всех собак. И в числе прочих клевет, обвиняли его также в том, что он на посту министра финансов нажил состояние. Между тем он оставил пост в довольно стесненных материальных обстоятельствах и вынужден был унизиться до того, чтобы просить у государя субсидию в 100 т. р. Он просил у государя субсидию из личных средств, а Николай II, с целью уязвить Витте, переслал эту просьбу министру финансов, заклятому врагу Витте Коковцову. Последний не выносил Витте потому, что Витте не скрывал своего презрения к Коковцову. Субсидия была выдана, но из средств секретного фонда, т. е. из тех денег, из которых выдаются суммы охранникам и вообще на темные дела.

В Гос. Совете он не примкнул, — вернее, он даже не рискнул, в виду отношения бюрократов к нему, попытаться примкнуть,—к какой либо партии.

Когда в Гос. Совете образовалась группа беспартийных и Витте дал понять о своем желании вступить туда, то и эта группа сочла неудобным принять его.

Правда, он мог примкнуть к академической или, так называемой, левой группе,—она бы его приняла. Он туда не пошел, потому что он все же надеялся, что его призовут к власти, и не хотел окончательно отрезать себе все пути. Он так и остался изолированным и в кулуарах Гос. Совета можно было всегда встретить его одиноко и грузно шагавшую фигуру.

Вскоре после начала войны, я заехал к нему. Он очень много говорил о войне и почти пророчески определял последствия этой «глупейшей для России войны».

Менее всего, по мнению Витте, России следовало вмешиваться в эту войну.

— Эта война, давно назревавшая между Англией и Германией из-за интересов на мировых рынках, благодаря искусной дипломатии англичан и идиотизму наших дипломатов, получила неестественное направление.

— Я предупреждал об этом, но меня не хотели слушать. В конце концов, Россия явилась застрельщицей в этой войне. А когда Англия, которой эта война и была нужна, вмешалась в войну, то Россия ее за это благодарила. Такого дурака Россия еще никогда не валяла.

Говоря о последствиях войны, Витте отметил, что она затянется, что никто из этой войны не выйдет победителем, что видимый победитель не будет знать, как разделаться с последствиями своей победы, и что, в конце концов, эта война будет стоить всем строям Европы головы. Война эта, по мнению гр. Витте, будет провиденциальной. Она должна привести к коренному изменению общей системы начатия войн.

Нынешняя система ужасна тем, что ее затевают в кабинетах дипломаты, сами ничем не рискующие,

а проливают кровь, по большей части, люди, не одушевленные идеей, за которую воюют, или просто чуждые ей. И особенно резко это сказывается в России.

Во время войны гр. Витте пытался обратить на себя внимание. С этой целью он написал письмо следующего содержания вел. кн. Константину Константиновичу:

Ваше Императорское Высочество.

Живя в кровавой и воспаленной атмосфере совершающейся великой бойни культурных народов, люди страдают не только тем, что творится но и тем что им приходит на ум. Вот и меня не оставляет мучительная мысль: не проливает ли Россия потоки крови и не бросает ли свое достояние в пламя войны и ее последствий преимущественно для блага коварного Альбиона, еще так недавно направившего на нас Японию! Не ведет ли Англия нас на поводу и не приведет ли в такое положение, которое за тем потребует от нашего потомства массы жертв, чтобы избавиться от нового друга?

Ведь история ее отношений к Испании и Франции до уничтожения их конкуренции на морях служит некоторой иллюстрацией ее отношения к современной Германии, с которой английские деятели поклялись вести войну, по выражению одного русского дипломата, «до последней капли русской крови». Эти мучительные вопросы меня тревожат. Я думал: на чей авторитетный анализ их представить. У меня блеснула мысль представить их на благовоззрение Вашего Высочества. Но зная, в каком великом горе Вы находитесь, я

обратился за советом к Р. Ю. Минкельде. Он мне сообщил, что ныне представиться невозможно, но что Ваше Высочество просите письменно изложить мою мысль. Мотивировать мои мысли письменно потребовало бы много времени,—но суть моих сомнений представлена выше.

Всепреданнейший слуга
граф Витте.

13 октября 1914 г.

До сих пор в моей памяти сохраняется мое последнее свидание с графом Витте. Недели за две до его смерти, я позвонил к нему на квартиру с просьбой узнать, могу ли я заехать. К телефону подошла его супруга и сказала, что он принять не может, так как очень плохо себя чувствует. А на другой день он сам вызвал меня по телефону, сказал, что чувствует себя лучше, и просил заехать.

До того я не видел его около двух месяцев. Я не узнал его; он страшно исхудал, глаза ввалились и были мертвые, как стеклянные. Видно было, что его преследуют мрачные предчувствия.

— Скажите, как вы меня находите?—спросил он, глядя на меня в упор.

Я посмотрел на него и ничего не ответил.

С. Ю. Витте сразу перевел разговор на другую тему.

Уехал я под впечатлением, что это человек конченный.

Через два дня, он утром позвонил мне по телефону. Только что состоялось назначение нового министра торговли, князя Шаховского. Голос Витте звучал довольно бодро. Он был даже в несколько шутливом настроении.

— Я по вашим глазам, — сказал он, — третьего дня видел, что вы меня похоронили, а я чувствую, что оправляюсь. Как вам нравится новое назначение?

— А что вы по этому поводу скажете?

— Что же сказать? Шаховской моложе Тимашева и еще глупее. А вообще он не министр, а....

Эпитет был очень густой.

Мы условились, что я через несколько дней заеду.

Но больше мне видеть его не пришлось. В тот же день он слег и больше не вставал.

Даже после смерти Витте Николай II остался верен своей ненависти и своей мелочной мстительности: он не послал вдове сочувственной телеграммы. Зато, как только Витте испустил последний вздох, царь прислал на квартиру его своих чиновников, конфисковавших бумаги покойного. Главные бумаги покойного хранились в Биаррице, и царю не удалось добыть их.

Перед смертью Витте завещал, чтобы на надгробном камне на его могиле был высечен текст манифеста 17 октября. Николай II воспретил это. Когда памятник был открыт, то наверху камня была надпись: «Граф С. Ю. Витте». И затем даты рождения и смерти, а в самом низу надпись: «17 октября 1905 года».

Только после февральской революции промежуток между верхней и нижней надписями был заполнен текстом манифеста.

НАКАНУНЕ ДУМЫ.

У Синего моста с давнего времени высится б. Мариинский дворец. Хмурое стильное здание таит в себе разнообразную историю. Великая княгиня, которой принадлежал дворец и имя которой он носит, в свое время гремела своими похождениями. Во дворце были особые комнаты, устройство коих было приноровлено к любовным утехам. Похождения великокняжеской любительницы приключений не всегда кончались благополучно. Еще долго после ее смерти ходили слухи о пропажах ее любовников. Однажды даже чуть не вышло международного осложнения. Пропал секретарь одного из иностранных посольств. Пропал после посещения дворца. Кое-как замяли дело.

Бурная жизнь не прошла даром для царственной блудницы. В сравнительно не старом еще возрасте она обезножила.

Тогда у внутренней лестницы дворца был прорублен пролет, в котором устроили деревянный настил, отлогой спиралью доходивший до верху. По этому настилу, сохранившемуся и поныне, обезноженную княгиню в коляске возили наверх покоям былых утех.

Потом во дворце приютились высшие государственные органы старого строя: государственный совет, комитет министров, канце-

лярия по подаче прошений на высочайшее имя, государственный статс-секретариат.

Разгул сменился тишиной.

Мягкие ковры, толстые портьеры не пропускали шума городского в эти покои, где сановные старцы вершали государственные дела. Бесшумно скользили по коврам лакеи в туфлях с пряжками и чулках до колен, в позументах, строгие и серьезные, как и те, кому они служили.

Не было там ни споров, ни дебатов. Участь дел, рассматриваемых особенно в департаментах гос. совета, заранее решалась статс-секретариатом. Для формы дела докладывали, при чем во время докладов многие старцы дремали, а затем отбирались голоса.

Государственный секретарь П. А. Харитонов (впоследствии гос. контролер) рассказывал мне характерный, имевший место еще, когда он был докладчиком, случай с членом одного из департаментов Гос. Совета — не то Солдатенковым, не то Слободчиковым. Запамятовал.

Этот государственный муж имел от роду далеко за 80, был рамолизован на все 100%, всегда дремал на заседаниях, а когда опрашивали голоса, его будили, и он неизменно присоединялся к мнению своего соседа Петра Петровича Валуева.

Прошли года. Валуев, свершив свой жизненный путь, оставил земную юдоль.

Однажды, после доклада, Солдатенкова будят.

— Ваше мнение?

— Я согласен с мнением Петра Петровича.

— Петр Петрович умер, — сообщил председатель.

Солдатенков равнодушно присоединился к мнению следующего соседа и вновь задремал.

Новое дело. Доложено. Спрашивают. Будят Солдатенкова.

— Ваше мнение?

— Я согласен с мнением Петра Петровича.

— Петр Петрович умер.

— Опять умер?

Тут уравновешенный и тоже в достаточной степени рамолизованный председатель Фриш потерял спокойствие. Самый факт, что члена гос. совета заподозрили в том, что он позволил себе излишество, по закону неположенное, его возмутило и он назидательно заметил:

— Петр Петрович умер, как полагается, всего один раз.

В это-то здание 24 апреля 1906 г. шумной суетливой толпой хлынули журналисты. Здесь им предоставлено было помещение для распределения мест печати в новых государственных органах: Думе и Совете.

Шум, крики, смех, несмолкаемый гул оглашали дворец в течение целого дня. И смотритель здания ген. Шевелев, и старые лакеи, давно забывшие свое происхождение из народа и ставшие органическими холопами, с ужасом смотрели на эту пеструю разношерстную смесь одежд и лиц, племен, наречий, столь резко не гармонировавшую со старым, освященным годами, укладом, царившим в этом здании.

Ген. Шевелев попробовал было призвать к порядку. Его старческий голос потонул в гуле журналистов, хмельных от свободы печати, повышенно настроенных в ожидании открытия законодательных палат.

Шевелев махнул рукой и удалился.

Он понял, что Петр Петрович умер как полагается один раз, но окончательно.

Конец I-го тома.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ II ТОМА